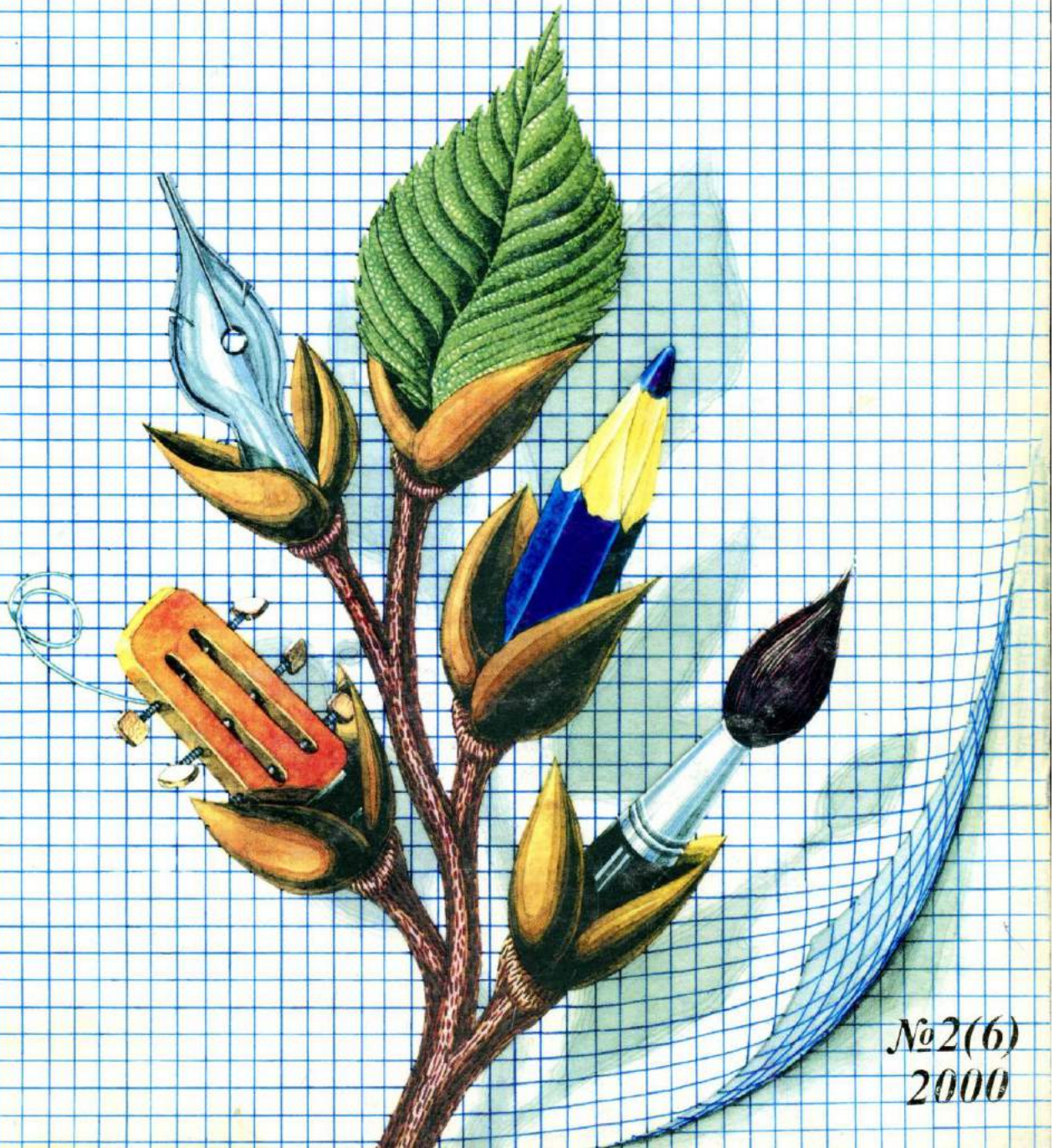


Дервоцвет

Литературно-художественный альманах для юношества



№2(6)
2000

**55-летию
Великой Победы
посвящается**



*Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!*

Д.Самойлов

ПЕРВОЦВЕТ

№ 2 (6)

Государственное учреждение культуры
Областная юношеская библиотека
им. И.П.Уткина
Организационно-методический отдел
664011, г.Иркутск, ул.Чехова,10

Литературно-художественный альманах для юношества

Учредитель

Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина

Альманах зарегистрирован в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати, регистрационный номер И-0391 от 28 июля 1998 г. Выпуск альманаха осуществляется благодаря финансовой поддержке Комитета по культуре администрации Иркутской области

И.о. главного редактора

С.В.Зубакова

Редколлегия

Л.М.Середкина

Е.А.Суворов

А.С.Попов

А.К.Лаптев

Л.В.Иоффе

С.Н.Элоян

В.В.Науменко

Обложка

Сергея Элояна

Рисунки в тексте

М.Юдиной

И.Халтаева

Технический редактор

Н.Н.Галкина

Адрес редакции

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10

тел. 27-07-93

Иркутск

2000

Содержание

Первоцвет – 55-летию Великой Победы

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Светлана Зубакова. Война в памяти поколений. <i>Итоги литературного конкурса «Салют, Победа!»</i> | 3 |
| Эдуард Харченко. Бабушкина колыбельная. <i>Стихи</i> | 5 |
| Ольга ДЕРЕБЕРА. Песнь павших солдат. <i>Стихи</i> | 5 |
| Юлия Доронина, Светлана Собко, Евгения Сухарева. Память, преображенная в слово. <i>Стихи</i> | 7 |
| Василий Балтахинов. Памяти павших. <i>Стихи</i> | 7 |
| Юлия Галинская. Тоска. <i>Рассказ</i> | 8 |
| Юлия Железнова. Свастика-«добродетель»? <i>Интервью</i> | 10 |

Проза Первоцвета

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Виктор Комлев. КОВЫЛЬ. <i>Повесть</i> | 13 |
| Григорий Рейнгольд. Я старался ничего не сочинять. <i>Рассказы</i> | 41 |

Рифмы Первоцвета

| | |
|---------------------------|----|
| Людмила Резенкова | 45 |
| Надежда Кузьмина | 45 |
| Константин Максимов | 46 |
| Юлия Юрченко | 47 |
| Татьяна Вольвач | 48 |
| Борис Коробов | 49 |
| Наталья Майдукова | 50 |

Миниатюры Первоцвета

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Галина Бельская. О Набокове | 53 |
| Виталий Науменко. <i>Рассказы</i> | 54 |
| Валентина Мартыненко. Трезорка. <i>Рассказ</i> | 56 |

Сказочный мир Первоцвета

| | |
|--------------------------|----|
| Валентина Шабалина | 60 |
|--------------------------|----|

Фантастический мир Первоцвета

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Александр Чучнев. Виртуальность. <i>Повесть</i> | 70 |
|-------------------------------------------------------|----|

Улыбки Первоцвета

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Любовь Штефюк. Тараканья напасть. <i>Рассказ</i> | 77 |
|--------------------------------------------------------|----|

ВОЙНА В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Совсем недавно наша страна отметила великий праздник – 55-летие Победы над фашизмом.

Не остался в стороне от этого события и наш альманах. Еще в феврале редакционной коллегией был объявлен конкурс «Салют, Победа!» на лучшее литературное произведение и рисунок, посвященные Великой Отечественной войне. В нем могли принять участие школьники, студенты, работающая молодежь. На конкурс принимались работы различных литературных жанров – стихи, рассказы, повести, публицистика, школьные сочинения. Порадовало то, с какой активностью молодые люди откликнулись на наше предложение. В редакцию непрерывным потоком стали приходить письма со всех концов Иркутской области. Это были рассказы о своих семьях, которых коснулся ветер войны, о воевавших родственниках; рассказы, проникнутые болью, пониманием, неподдельным интересом к событиям теперь уже далекого прошлого.

Рассмотрев и обсудив каждую пришедшую на конкурс работу, редакция коллегией подвела итоги.

В номинации «Лучшее поэтическое произведение» единогласно был отмечен небольшой стих пятиклассника из Иркутского лицея №42 Эдуарда Харченко «Бабушкина колыбельная». От этого стихотворения веет сердечностью и теплотой. Здесь не описаны военные действия, нет какой-либо патетики, но через восприятие мальчиком рассказов его бабушки о военном детстве, мы понимаем, как они важны для него, как трогают его детскую душу.

Среди многочисленных прозаических произведений, поступивших на конкурс, победителем признан рассказ «Тоска», присланный Юлией Галинской из п. Качуг. Он интересен тем, что автор на примере одной человеческой жизни показывает то, как война ломает и корежит людские судьбы, о том, какой тяжелый след она оставляет в душе человека.

Также на конкурс было прислано много рисунков. В номинации «Лучший рисунок» победителем стала Маша Юдина, ученица лицея №42 из г. Иркутска. В ее работе «Учиться было нелегко» отображена трудная жизнь детей военной поры, когда они успевали не только помогать взрослым трудиться, но и продолжали посещать школу. На рисунке изображен холодный класс, обогреваемый лишь маленькой железной печуркой, сквозь заклеенные окна падает тусклый свет, освещающий фигуру мальчика в ушанке, склонившегося над партой. Поражает точно увиденная и прочувствованная автором атмосфера того времени, вера, терпение и настойчивость, которые в конечном итоге и помогли нашему народу одержать победу.

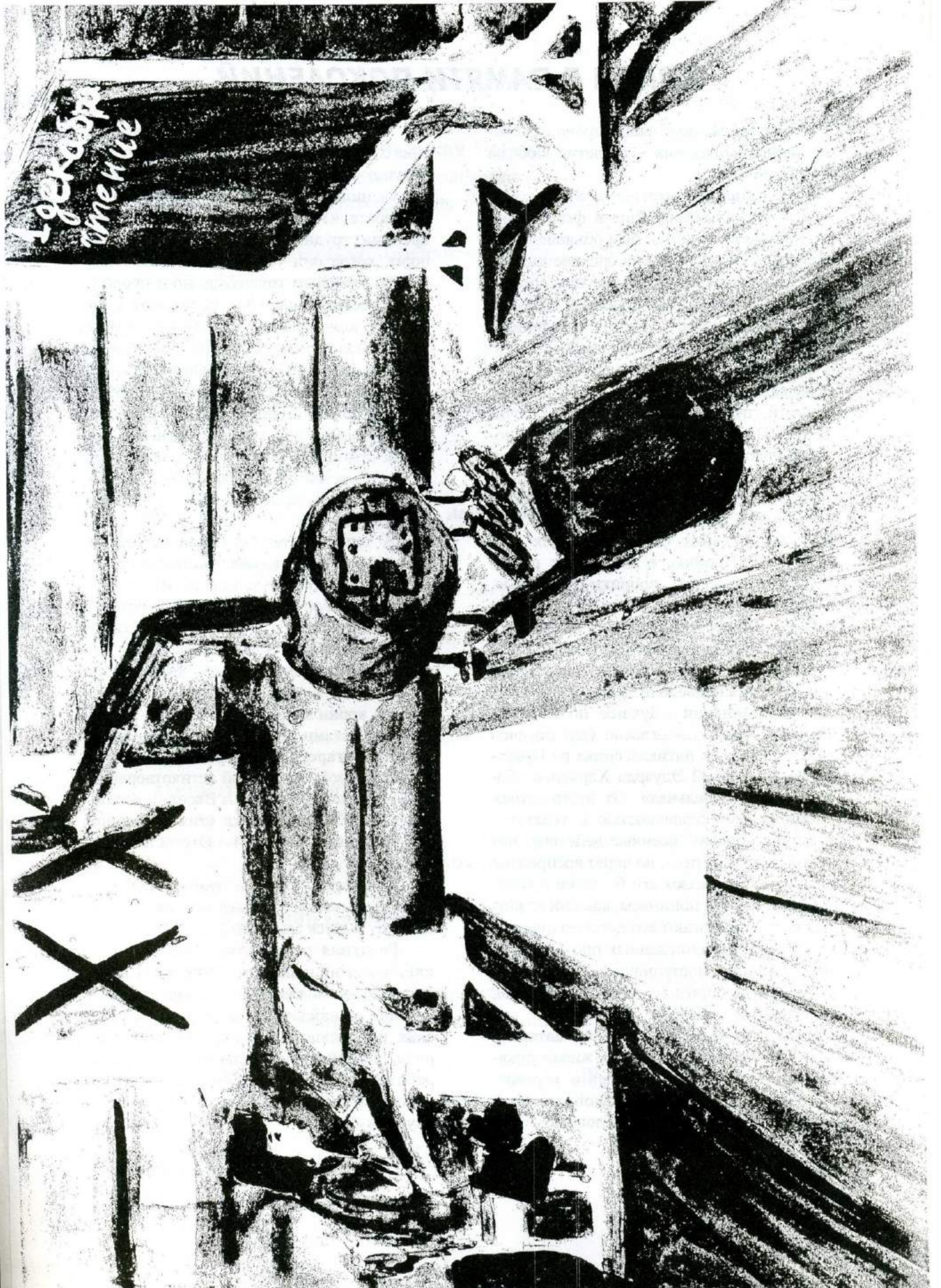
А теперь о тех, кто стал лауреатом конкурса. В первую очередь, хочется отметить работу Железновой Юлии из г. Усолье-Сибирское, написавшую острую публицистическую статью «Свастика-«добродетель»?». Автор с тревогой и болью освещает такое ужасное явление как неофашизм, к сожалению, начинающее пускать корни в сибирских городах.

Лауреатами стали также Ольга Дербера из Ангарска за прекрасное, наделенное образной патетикой стихотворение «Песнь павших солдат» и Василий Балтахинов из Качуга за цикл стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне.

Со всеми произведениями-победителями вы можете познакомиться, прочитав этот выпуск альманаха.

Редакция поздравляет всех, кто откликнулся на наше предложение и принял участие в конкурсе. И если кто-то сегодня не найдет своих фамилий в списках победивших, не огорчайтесь, творите, дерзайте, присылайте к нам свои работы на другие темы, мы всегда их с удовольствием рассмотрим, а лучшие – опубликуем.

Светлана Зубакова



1968
me Hie

X
X

Эдуард Харченко,
*учащийся 5 класса технического лицея №42 г.Иркутск,
победитель конкурса «Салют, Победа!»*

Бабушкина колыбельная

На постели с краюшку
Примостится бабушка,
Одеяло подоткнет,
Колыбельную поет.

Сколько помню я себя,
Столько бабушка моя
Эту песню мне поет.
Все поет, не устает.

Ведь простые те слова
Колыбельные

Детство не дают забыть
Ей военное.

Колыбельная качала
Малышей голодных,
Уносила все печали,
Пусть и ненадолго.

Напевает бабушка:
«Спи, мой внучек. Баюшки».
Песня не кончается.
Жизнь продолжается.

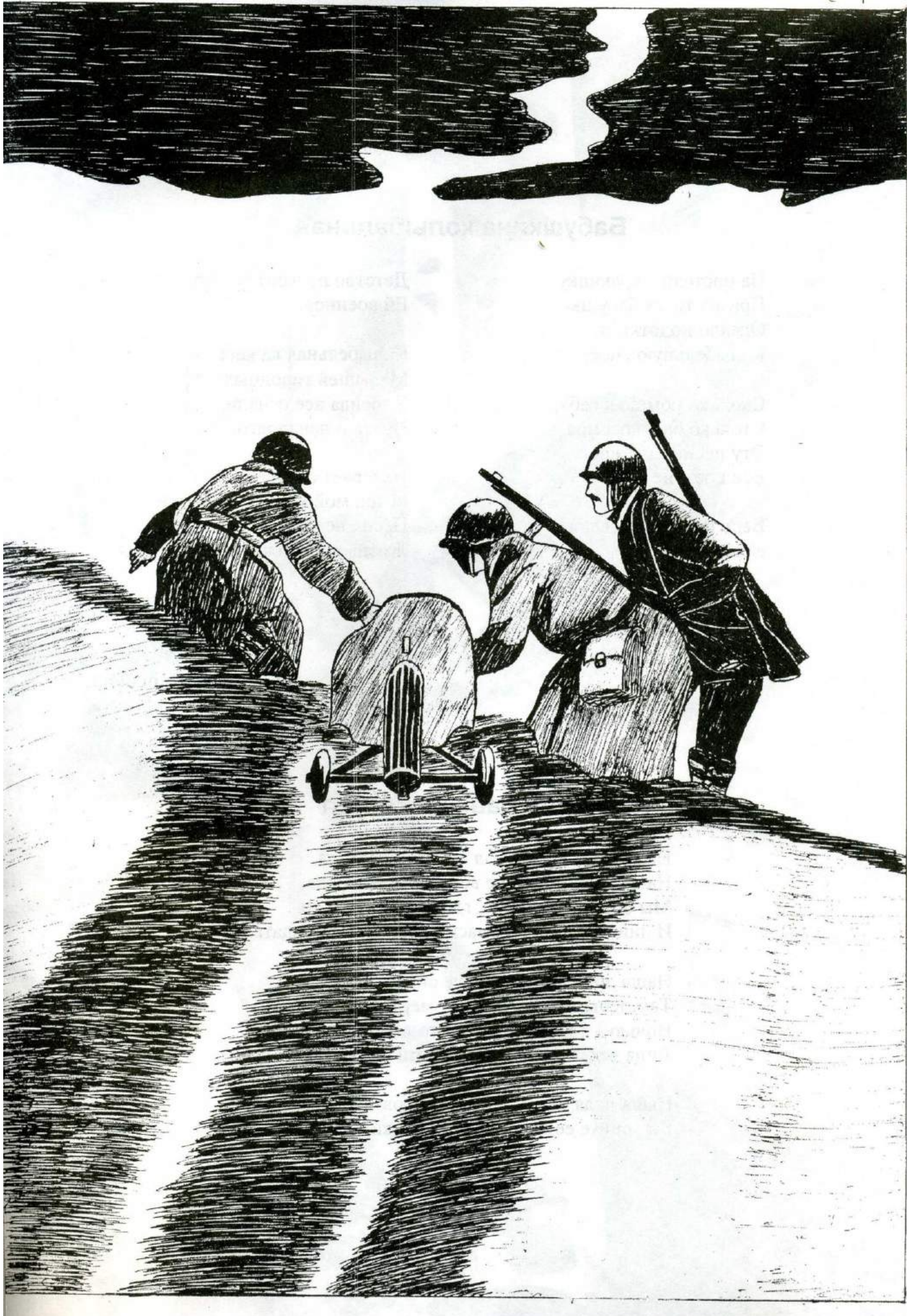
Ольга Деребера,
*учащаяся 11 класса школы №11 г.Ангарск,
лауреат конкурса «Салют, Победа!»*

Песнь павших солдат

Наша доля весны под снегами ослепла,
Наша доля весны не воскресла из пепла.
Мы остались лежать, где упали когда-то,
И лишь память осталась в сердцах от солдата.

Наша доля весны – наше синее небо,
Там, в окопах, осталась у мертвого снега.
Ночью – тысячи звезд – это наши лица,
Лица тех, кому в небе ночами не спится...

Наша доля весны – поля снеговые.
Вы ищите ее в ваших вёснах, живые.



Светлана Собко, Евгения Сухарева, Юлия Доронина,
учащиеся 10 класса школы №7 г.Иркутск,
участницы конкурса «Салют, Победа!»

* * *

*Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.*

Ю.Друнина

Я, слава Богу, не видала рукопашный –
Никак: ни наяву и ни во сне,
Но знаю: на войне не просто страшно –
НЕВЕРОЯТНО СТРАШНО на войне!

* * *

Война – невсходящее солнце над нами.
Война – непогода над головами.
Война – это черное небо от дыма
И пули, редко летящие мимо.

Война – это горе и стоны, и слезы.
Война – это кровь, это смерти угроза.
Война – это темные рвы и окопы.
Война – это хуже огня и потопа!

Война – это неисчислимые беды –
Ценою жестокой даются победы.

Василий Балтахинов,

п.Качуг,

лауреат конкурса «Салют, Победа!»

Памяти павших

Сколько же вас полегло по просторам России!
Сколько имен позабыто – не знает никто.
Мы не свидетели прошлых суровых событий,
К общей могиле лишь носим букеты цветов.

Помним ли мы в беготне, в суете бесконечной
Наших дедов, не пришедших когда-то с войны?
Помним ли тех, кто poleg, живота не жалея,
Им возжигая огонь у гранитной стены?

Вечный огонь – это отблеск сражений недавних,
Вечная память отдавшим себя до конца.
Ваше молчание слилось с безмолвием камня.
Ваше присутствие чувствуют наши сердца.

Юлия Галинская,
учащаяся 9 класса средней школы №1 п. Качуг,
победитель конкурса «Салют, Победа!»

ТОСКА

Рассказ

Бродя по лесу и думая о чем-то своем, Женя наткнулся на избушку лесничего.

Погода становилась хуже час от часу: небо темнело, ветер не стихал и даже становился сильнее.

«Зайду, – подумал Женя, – попрошусь погреться и пережду непогоду».

Когда он зашел в избу, то не услышал ничего. В избе из мебели были лишь стол да скамейка, а единственным украшением – ружье, висевшее на стене. В углу стояла печь. Ничто не выдавало признаков жизни. Вдруг раздался долгий горловой кашель и грубый ворчливый голос произнес:

– Тьфу, ты, ё-моё, чертова чахотка.

– Здравствуйте, – робко поздоровался Женя.

– Что, опять непогода занесла? По своей-то воле никто бы не пришел. Ну, проходи, коли зашел. Не часто у меня гости бывают.

– Извините, я долго не задержусь, – сказал Женя.

– Сиди, сколько понадобится. Я сейчас печь затоплю.

Из-за печи вышел худой и бледный старик. В его глазах сквозила пустота. Лесничий пошел за дровами.

– Может, Вам помочь? – спросил Женя.

– Сколько без чужой помощи обходился и сейчас обойдусь, – проворчал лесничий.

Он принес дрова, затопил печь. И изба словно ожила. Стало тепло и светло.

Женя и лесничий сели возле печи и стали смотреть на пламя.

– А что, изменился ли мир после войны? – спросил старик.

– Изменился ли, я, конечно, не знаю, но полагаю, изменился мир.

– Я тоже думаю, изменился. Я иногда выезжаю отсюда, да и то – только в один деревенский магазин зайду, да и обратно. Но я, когда еду, в лица людей всматриваюсь – меняются лица, а с ними и все остальное меняется... – начал старичок свой рассказ.

Женя вслушивался в каждое слово, но едва понимал, что говорил лесничий. По окну уже барабанил дождь, в печи трещали дрова, и изредка пламя вырывалось из кирпичных оков.

– Жизнь-то у меня была плохая, – продолжал лесничий. – всю мою молодость война испортила. Сначала я на заводе работал, а потом на фронт отправился. На заводе там и бабы, и дети, и девушки молоденькие – все работали: все, чем могли, пытались помочь. Там я познакомился со своей первой и единственной любовью. Все у нас было прекрасно. Но подошло время, и я на фронт отправился. Перед отъездом она пообещала дожидаться меня и взяла с меня клятву, что я вернусь к ней.

На фронте меня определили в отряд саперов. Вооружения не хватало, поэтому оружие было у единиц, и было оно на вес золота.

Однажды мы забрели в бывший опорный пункт немцев. Ничего не предвещало беды, но наша собака не находила себе места. Мы решили проверить, в чем дело. Нашли три мины и думали, что это все. Как вдруг у меня под ногой что-то скрипнуло. Ребята заорали: «Стой!». Я понял, что случилось. Но думал я не о себе, а о ней, о моей Надежде, и о клятве, которую я ей дал.

Ребята сказали, что нужно меня чем-то заменить. И единственное, что они нашли, это большой тяжелый ящик. Аккуратно они заменили меня этим ящиком, и мы, что есть сил, побежали. Тут раздался взрыв. Стало невыносимо больно, боль сковала все тело, меня вынесло наружу ударной волной.

Очнулся я в госпитале. Около больных суетились нянечки. Первое, что я спросил:

— Я жив?

— Очнулся, наконец-то, — вздохнула одна пухленькая нянечка, — жив, дорогой и слава богу! Ты ведь один выжил.

Через несколько дней к нам пришел командир. Подошел к каж-

дому больному, пожал руку. А потом подошел ко мне и вручил мне медаль и ружье. Медаль я невзначай потерял, а ружье — вот оно, со мной.

Война кончилась. Все вернулись домой, и я вернулся. Только не было моей Наденьки, умерла от чахотки. Вот и меня теперь чахотка гложет. Жизнь для меня была кончена, и я не мог представить себе дальнейшее существование. Через некоторое время прозвучал призыв ехать в Сибирь. Я и поехал от того проклятого места. А здесь устроился лесничим и по сей день тут. Ну, вот и вся моя история. Война отняла у нас все, без исключения.

Лесничий закончил свой рассказ, и Женя тотчас же уснул.

Наутро, проснувшись, он встал, вышел попрощаться со стариком. В глазах лесничего появилась хоть и маленькая, но искра надежды, жизни. Женя понял: все, что нужно было этому бедному старику, — выговориться.

— Да, злую шутку сыграла с ним судьба. Оттого и ворчит все время... Но на самом деле он пытается заглушить тоску в душе, — сделал вывод Женя и пошел быстрее по лесу.

Стало холодать. Дыхание осени ощущалось все сильнее и сильнее.

*

*

*

Юлия Железнова,
учащаяся гимназии №1 г. Усолье-Сибирское,
лауреат конкурса «Салют, Победа!»

СВАСТИКА – «ДОБРОДЕТЕЛЬ»?

Недавно наша страна отметила праздник, который чтит особенно свято, – Победу над фашистской Германией. Отвращение к фашизму «в крови» у старшего поколения. К сожалению, в Усолье, Ангарске, Иркутске и других городах России после известных событий 1991 года стали появляться молодые люди, именующие себя патриотами. Они проповедуют идеи российского национального единства. Передо мной сидит обычная с виду усольчанка, симпатичная девчонка, одетая, как многие: никаких камуфляжных брюк, особенной косметики. Но смотрит на меня с каким-то вызовом и усмешкой и называет себя с гордостью «фашисткой»...

– Кем ты себя считаешь?

– Я?! (*замешательство*) Человеком, который знает, чего хочет, имеющим свои убеждения, от которых не отступит, несмотря ни на какие угрозы. И который очень любит свою страну.

– Ты – патриотка?

– Сегодня слово «патриот» ассоциируется с понятием «идиот». Неважно, кем я себя называю. Суть это не меняет. Разумеется, патриотические убеждения, в моем

понимании, – основа жизненной позиции.

– А в чем заключается твой патриотизм?

– В моей идее!

– И какова она?

– Я ненавижу черных!

– Объясни мне, пожалуйста, кого ты называешь «черными»?

– Чурок, калмыков, китайцев, турок, чеченцев, татар и прочих «цветных».

– Но ведь многие из них живут в нашей стране, но на своей территории...

– Вот и пускай «сидят» там и не выходят за ее границы.

– А разве люди с темной кожей не имеют права на существование?

– Нет.

– Почему?

– Угадай...

– Разве они виноваты, что родились такими?

– Воры и наркоманы тоже ни в чем не виноваты.

– Гм-м... А что ты читаешь?

– Русские классики – что-то вроде воздуха. Например, Чехов, Достоевский, Гончаров...

– У тебя есть единомышленники?

– Из близких людей только два человека. Но это потому, что я живу в захолустье.

– Какое отношение у тебя к Великой Отечественной войне? К нашему историческому опыту борьбы с фашизмом?

– Никакого.

– Кто-нибудь из твоих родственников воевал?

– Мой прадед «заработал» на войне только кошмары по ночам и белую горячку. Да еще парочку медалей, которые сейчас ржавеют.

– Расскажи о себе.

– Мне 17 лет. Учусь в обычной школе. И достаточно хорошо. Хочу получить престижную профессию. Люблю животных и компьютеры, своих родителей.

– А они знают о твоих убеждениях?

– Да. Но не относятся к ним серьезно. Считают, что «перебежусь».

– А ты как думаешь?

– Я никогда не загадываю вперед.

– А что ты делаешь, чтобы воплотить свою идею в жизнь?

– Ничего.

– Почему?

– Еще не пришло время. Когда пробьет наш час, мы будем принуждать силой всех нерусских уйти с нашей земли.

– Вас много?

– Скажем так: нас не так мало.

– Как ты пришла к своим убеждениям? Когда появилось ощущение ненависти?

– Года два назад. Просто почувствовала, что язычки черномазых, прищелкивающие мне вслед, вызывают даже не гнев, а бешенство.

– Тебе не кажется, что то, что вы делаете, – зло?

– Ну, почему же? «Свастика» переводится с латинского как «добродетель». Мы своего рода санитары.

– Ты собой довольна?

– Вполне...

*

*

*

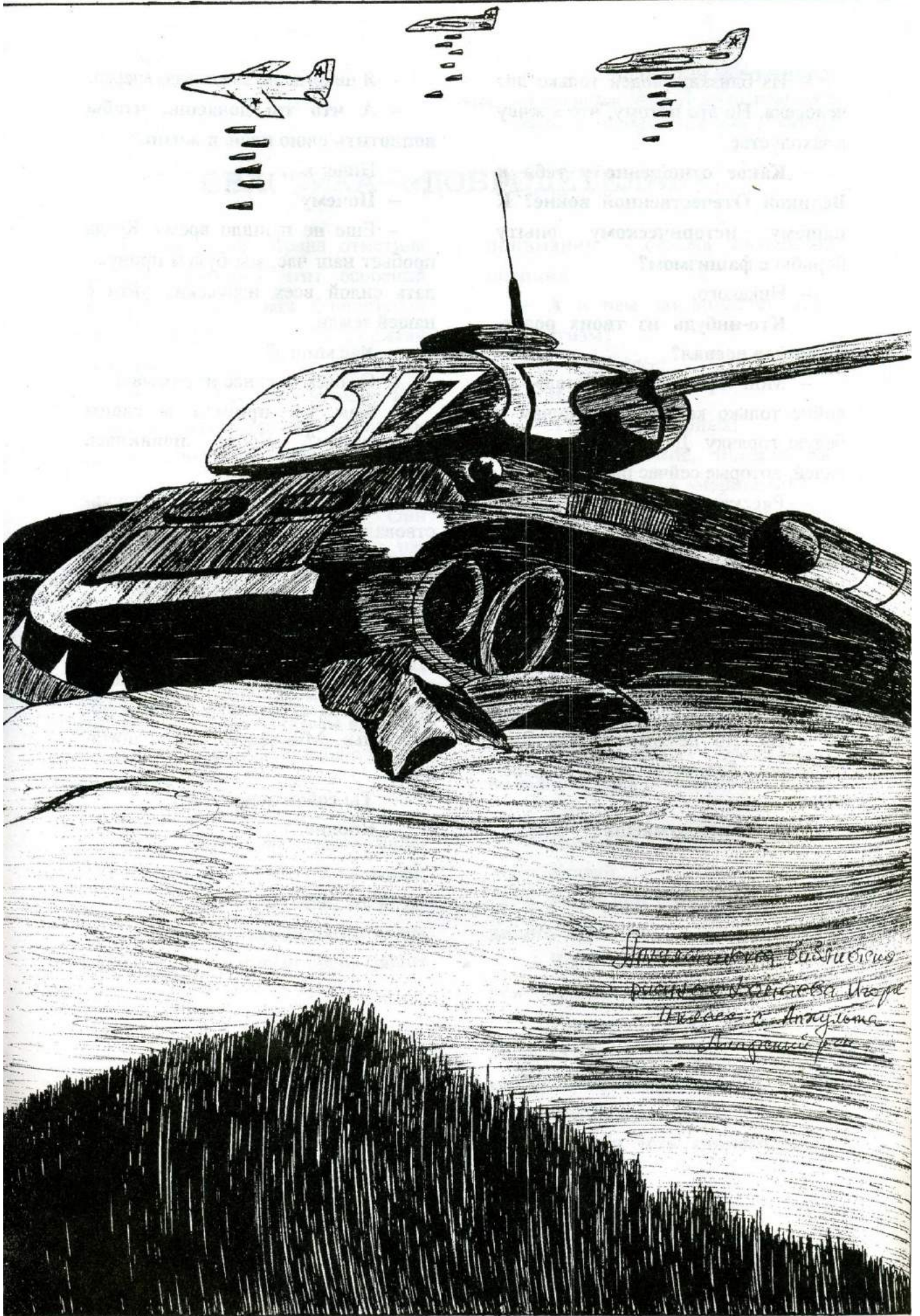


Иллюстрация В.С.Суров
Музей ВВС России
Москва - Английская
Авиация 1998

ПРОЗА ПЕРВОЦВЕТА

Виктор Комлев

Член Союза писателей России

КОВЫЛЬ*

Повесть

Глава I

К ноябрю сорок третьего, когда поставили под разгрузку последнюю баржу, от Сережки остались одни глаза. Глаза его смотрели из-под большого помятого козырька фуражки с терпеливой тоской заезженной старой лошади, которая давно уже не боится ни окрика, ни кнута и тянет свой воз лишь по привычке.

На тонкую шею Сережки Узлова наделось просторное потное ярмо работы, чтобы он вместе с народом удерживал тыл и помогал фронту, который трещал и надсаждался под тяжким гнетом войны.

Безумие охватило землю. Германия, одурманенная фашизмом, уверовала в свое право распоряжаться судьбами всех народов, порушила мир, стала силой подчинять себе другие страны. А чтобы наверняка победило их злое дело, нацисты велели своему народу и тем, кто им поклонился и принял их фашистскую веру, изгнать из сердца всякую жалость – как признак слабости и неполноценности; череп и кости нарисовали главные преступники на мундирах самых отпетых губителей жизни – долой сантименты! На службу взяли бога: на христианский босый крест надели кованые башмаки, превратили его в свастику, и пошла она давить железной ногой – «С нами Бог!» – города, поселки, деревни и хутора и всех, кто мирно жил там. И молодых, и старых, и детей...

* Журнальный вариант. Печатается в сокращении.

Сережку уже не радовало, что заканчивается срок его работы и, как только последнее обледенелое бревно окажется на берегу, лейтенант Вахрамев подпишет справку и отпустит домой к матери, к Нюрке с Мишуком.

Как они там? Всего лишь одно письмо получил он из родной деревни за три месяца. Мать спрашивала о здоровье, как его кормят тут, и просила не надрываться, беречь себя, как будто бы есть на баржах специальные легкие бревна для Сережки – потоньше и покороче.

О своей и деревенской жизни она писала скупо: «У нас пока все живые, а кто по деревне помер, потом сам увидишь».

Ждановка – небольшая деревня, всех знает Сережка, но от того, что кто-то там умер и – по невнятному намеку-умолчанию матери – человек ему близкий, похоже не один, в душе у Сережки ничего не дрогнуло, не шевельнулось и тоски не прибавилось, будто изработался он и был заполнен усталостью до краев, так, что ни для каких других чувств места в нем не осталось.

И то, что по-прежнему живут в голоде мать, сестра и братишка – тоже было ясно ему из скупости письма, но и это его почти не трогало: весь мир был голодным и пуце всех он сам, Сережка. Котловое довольствие – тощие щи, в которых почиталось за счастье выловить картофелину, серый, словно выва-

лянный в дорожной пыли хрустящий на зубах хлеб, прошлогодняя квашеная капуста, изредка – каша; пища не восстанавливала затраченных сил, и к исходу третьего месяца самые крепкие и жизнерадостные девки в команде скисли и приуныли, исчерпав весь свой резерв, работали на износ; что уж говорить о худосочном Сережке.

В четырнадцать лет самое время расти и крепнуть, а для этого нужны еда и сон, но ни того, ни другого в достатке за два года войны ему не выпадало, зато работать приходилось вдоволь и даже много больше. Сережка рос, и ещё скорее рос и креп в нем внутри зверь, имя которому – голод. Голод ел Сережку и не давал окрепнуть. Ему казалось уже, что никогда и не было иначе, а довоенное сытое детство его – это из коротких полубредовых снов, отпущенных ему в промежутках между вечерней и утренней зорями.

Лишь однажды сон, приснившийся здесь, в городе, был цельным и ясным и вспоминался, и хранился в Сережкиной душе, как праздник.

...Трактор легко катил по полю, оставляя за собой широкую полосу скошенной травы. В кабине со снятыми дверками рядом с отцом сидел Сережка и всеми порами впитывал впечатления первого в том году сенокосного дня: неохватный простор степи, густую зелень трав, небо с редкими белесоватыми, тающими на солнце облаками и жаворонка в вышине – трепещущего, замирающего от счастья. Восторженная песня его заглушена рокотом двигателя, но Сережке кажется, что он слышит ее.

Полдень. Отец повернул к колку, небольшому березовому лесу у дороги, остановил и заглушил трактор за полсотни шагов от него.

– Обедать, однако, пора, а?

Они прошли к нераспаханной полосе у леса, устроились среди полевых цветов и серебристых метелок ковыля. Это было любимое место отца. Отец

сполоснул водой из бидончика лицо и руки, вытерся мягкой тряпицей, которую приготовила Сережкина мать им в поле, лег на спину, заложив руки под голову, смотрел в небо, пока Сережка готовил стол.

– О, окрошка! – обрадовался отец, будто все, что было у них на обед, ему в диковинку.

Неторопливо опростал миску, попросил добавки:

– Плесни еще, сынок.

Сережка быстро исполнил просьбу, лег на траву, подперев голову ладонями, смотрел, как ест отец; дождался, когда он управился с добавкой, подмигнул и сказал, отдуваясь:

– Уф-ф! Хорошо: пузо дерет, а хмель не берет!

И они засмеялись, как заговорщики.

Потом наступила самая желанная минута: Сережка сидел, прислонясь к отцу, держал двумя руками его тяжелую ладонь, положив ее к себе на колени, задавал свои бесконечные вопросы – отчего Земля круглая, почему жук майский, за сколько лет можно дойти до Луны пешком... Отец отвечал, если знал ответ, а когда не знал, то, по обыкновению, придумывал на ходу какую-нибудь веселую байку. И только напоследок не пошутил. Сережка спросил:

– Пап, а почему это ковыль шелковистый такой и ласковый, а колючий? Вот, – выдернул перышко, – вишь какое острое шильце, как маленькое копье!

– Не знаю, – задумчиво сказал отец и посмотрел на дорогу. Из деревни в их сторону мчался всадник. Отец перевел взгляд на светловолосую Сережкину голову, вздохнул: – Полегли, может быть, наши деды-прадеды от вражьих стрел или копий на этом месте или... в других краях, а в память о них растет ковыль.

В ту минуту они еще не знали, что уже началась война.

Сон этот – и не сон вовсе, а воспоминание того последнего часа, прове-

денного вместе с отцом, – привиделся Сережке в одну из первых городских ночей, как тревога за отца, от которого давно не было писем, и как надежда на светлый праздник...

Сон был вещий: отец тоже бредил в ту ночь своим полем – сидел на ковыльной поляне с сыном и обмирал от ужаса и бессилия: средь дыма и пыли напоздали на них грохочущие чудовища, а они словно приросли к земле – ни убежать, ни спрятаться...

Они действительно были почти рядом: останавливался в ту ночь на вокзале поезд с ранеными, где в вагоне с тяжелыми лежал Сережкин отец.

Матери Сережка так и не ответил: ни времени, ни сил на письмо у него не оставалось. Единственную весточку о себе он отправил домой давно, в первый день, когда лейтенант Вахрамеев привел их в дощатый сарай, превращенный с помощью двухэтажных нар в жилой барак, указал каждому место и сообщил адрес, по которому им будут приносить письма. Лейтенант и позаботился о том, чтобы Сережка отправил письмо: дал бумагу и карандаш, распорядился:

– Напиши немедленно.

По возрасту Вахрамеев годился Сережке в отцы, он знал, какая предстояла каторга – будет не до писем, и пожалел Сережкину мать – она изведется, если не получит весточки от сына. И много еще чего знал уже не годный из-за ранения для боев лейтенант; на обожженной левой половине лица его немо и виновато смотрел на людей изувеченный глаз, вторая половина лица была как в мирное время круглой, живой и участливой, словно носил он перед собой не руку, пробитую снарядным осколком и оттого не разгибавшуюся в локте, а баюкал ляльку, доверенную ему на минутку счастливой мамашей несмышленьша.

Баржа была последней. Лед вот-вот должен был сковать поверхность реки, а где-то там, в нижнем течении, откуда

доставляли лес, мороз уже накрыл ее пока еще податливым, хрустким льдом.

Бревна, сбрасываемые с баржи в воду, быстро обволакивались ледяной пленкой, ускользали от багров, норовили сбросить с себя петли веревок. Бабы с руганью заарканивали их, под команду и натужный стон вытаскивали на берег бревно за бревном, откатывали дальше, громоздили в штабеля.

Мужиков в команде было мало, все они работали на барже; ворочать лес в трюме рискованно: нужны уверенность и сила, и особая сноровка; но и на барже преобладало бабье войско.

Сережка был единственным подростком в этой команде. Из Ждановки на лесозаготовки отправили по разрядке пять человек: вдовую и бездетную Валентину Савинову, двух незамужних девок – Наталью и Аришку, деда Задорожного, конюха, и Сережку. Сережку с бабами увезли в город на грузовике, дед Задорожный притрусил верхом, ведя в поводу вторую лошадь. В городе Сережку отделили от своих. Ведавший распределением «рабсилы» пожилой задерганный мужчина, увидев перед собой Сережку, чертыхнулся:

– Кого шлют, пся крев! – повернулся к изуродованному лейтенанту, к Вахрамееву: – Возьмешь? Мужик.

Что означало, наверное: «У тебя все же полегче, чем в лесу». Вахрамеев обреченно вздохнул – очень уж хилым был этот боец трудового фронта: четырнадцати лет Сережке на вид дать было нельзя, тянул он, от силы, на двенадцать. Но отказать Вахрамеев не мог: вопрос, обращенный к нему, – это вовсе не вопрос, а распоряжение, которое он, человек военный, выполнять обязан.

Остальных деревенских из степной Ждановки, знакомых с тайгой только понаслышке, отправили дальше, в низовья реки, валить лес вместе с такими же девками, бабами и стариками и грузить его на баржи.

Работа выматывала людей до изнеможения. Каждая последующая баржа казалась им вместительнее предыдущей и изрыгала из своего чрева все более толстые, совершенно неподъемные бревна. Они тяжело плюхались в реку, разбрызгивая жгуче-холодную воду, неохотно подчинялись слабым человеческим потугам: двигались медленно, упирались тупыми безучастными мордами в заледенелую кромку берега.

Забереги на реке, там, где течение еще сопротивлялось морозу, были небольшими, но здесь, в затоне, тихая вода покорила наступившим холодам, лед с каждым днем становился все толще и прочнее, срастался с песчаным берегом в единый бетонно-гудящий по утрам панцирь. За ночь ледок затягивал всю поверхность воды в затоне, бревна его ломали, и ледяное крошево, обильно сдобренное древесной корой, ядовито шурша, все неохотнее расставалось со своей добычей.

С наступлением холодов чувство голода у Сережки притупилось. Барак не отапливался, спасал лишь от ветра, тепло от дыхания людей удерживалось плохо; в обшарпанном тюфяке под Сережкой давно уже была не солома, а труха, вытертое суконное одеяло не создавало даже намека на уют и, если бы рядом не было, вплотную, таких же уставших тел, Сережка околел бы, наверное, в первую морозную ночь. Он мерз и потому вовсе не высыпался, утренний подъем казался ему пыткой, и он готов был пропустить завтрак, чтобы поспать еще полчаса. Но приходилось вставать вместе со всеми, надевать свой изодранный ватник, брать в руки тяжеленный багор, который казался тяжелее вчерашнего. Бегать по берегу или стоять на шатком и скользком трапе, направляя бревна, ему становилось с каждым днем непосильнее.

Ныло и стонало от перенапряжения все тело, но больше всего доставалось

рукам. Руки страдали не только от работы; на тыльной стороне их от воды и ветра поселились цыпки: грязно-красная кожа воспалилась и потрескалась, от малейшего прикосновения — жгучая боль; из-за цыпок Сережка в последние дни уже не умывался.

В этот, последний, день он несколько раз ронял свое орудие в воду, к счастью, недалеко от берега, непривычная легкость — будто с него сваливалось бревно — выводила его из полузабытья, он вылавливал багор из ледяной каши за плавающий конец древка — некоторое время после окунания рук в воду нестерпимая боль удерживала его сознание ясным, потом он снова впадал в полудрему, двигался и работал, как лунатик.

Мыслей не было, о том, чтобы немного расслабиться и передохнуть, он не мечтал. Все люди вокруг трудились неустанно для победы, не жалели ни сил своих, ни здоровья. Неистощимое терпение и беспредельное упорство народа распространилось и на детей. Будто в плотном строю шагал Сережка, не мог он остановиться или замедлить свое движение, вместе со всеми делал то, что требовала война, пока был в нем способен жить и действовать хотя бы один мускул.

Когда в очередной раз, ступая по обледеневшему трапу, Сережка сходил на берег и упустил багор, а сам соскользнул в другую сторону, он не очнулся, не ощутил холода ледяной воды, не почувствовал чуть позже, как его ухватил за шкуру своей здоровой рукой лейтенант Вахрамеев и вынес на сушу.

Перед тем лейтенант помогал женщинам вытаскивать бревна. Он обматывал конец веревки вокруг ладони, побурлацки, через плечо, впрягался и тянул, надрывая жилы, — желал забрать всю работу на себя и этим хоть немного облегчить тяжелую бабью долю.

С Сережки текло. Худые руки его с недетски большими натруженными ра-

Глава 2

ботой кистями далеко высунулись из рукавов куцей телогрейки и мотались у самой земли, мокрые ботинки чертили по песку, оставляя за собой две темные неровные борозды. Тощий, похож он был на утопшего курчонка. Вахрамеев опустил его на свою шинель, которую он сбросил раньше, согрившись от работы.

– Уханькали мальчика! – ахнула Параскева, высокая сухопарая женщина, которая орудовала багром у другого трапа. Она подошла, стащила с себя телогрейку, укрыла Сережку. – Эх ты, командир, в душу мать, сердца у тебя нет! Своё бы так не допустил.

Для связки предложений Параскева обычно вставляла крепкие мужицкие слова. На здоровой половине лица лейтенанта не было в тот момент добродушного выражения, на Сережку он смотрел с жалостью, после слов Параскевы на лице его появилась гримаса боли.

– Своего... – прохрипел он и осекся. Живы ли его дети, Вахрамеев не знал и никому о своей семье, что уже два года была под немцем, не рассказывал, чтобы нечаянным словом сомнения не опрокинулась его зыбкая надежда на благополучный исход. – Отнесите его в затишок.

Лейтенант вновь смотрел по добром.

– На кухню надо, – подошла другая женщина, – чтобы обсушился в тепле. Давай, помогу.

Параскева молча отстранила ее, взяла жилистыми руками Сережку в охапку, вместе со своей телогрейкой, потащила к неказистому деревянному домику, возле которого стояли два больших закопченных котла, прошла во двор, в котором не было ворот, ногой распахнула дверь в сени; дверь в избу перед ней открыла хозяйка.

– Ульяна Тимофеевна, прими работника.

Сережка не слышал, как его раздели донага и уложили на топчан к теплым камням печи, укрыли одеялом, а поверх одеяла набросили шубу; проспал он мертвецким сном и обед, и ужин и не видел, как уже в сумерках бабы всей толпой выволокли на берег последнее бревно, как убрали трапы, и небольшой дымный катерок утащил облегченную баржу в дальний угол затона на зимнюю стоянку.

При свете коптилки Ульяна Тимофеевна поставила на стол большую глиняную миску с горячим казенным борщом, пригласила Сережку:

– Иди-ка, родимый, похлебай, согрей нутро, а потом картошек еще поедим. Ваши-то хлеба принесли вона сколь. И сахарин.

Хлеба было явно больше, чем причиталось Сережке за два раза, за обед и ужин; он сглотнул слюну, предложил старухе:

– Берите.

– Спасибо, – не стала отказываться она. – Мне редко приходится хлеб видать. Кабы не огород, давно бы на погост угодила.

Но второй кусок не взяла и Сережке доест хлеб не дала:

– Не все враз. Кухня-то ваша закрылась. Завтра суховьем получишь – говорили на два дня – и ступай домой. Вот, – протянула небольшой серый квадратик бумаги, – твоя провизия.

После ужина Сережка снова крепко уснул, как провалился в трюм бездонной баржи.

Назавтра в небольшом продскладе, с которого выдавали на кухню продукты для команды Вахрамеева, угрюмый кладовщик, глядя припухшими глазами куда-то мимо Сережкиного плеча, сказал скучным голосом:

– Где болтался вчера? Все пайки выданы. У меня отдельных запасов для тебя нет.

Серезка растерялся. Все, с кем он работал, разъехались или разошлись по домам, а как он будет добираться домой – неизвестно, навигация закончилась. До Ждановки по реке, говорили, больше сотни километров, да еще в сторону два десятка наберется, а Серезка дальше соседней деревни, да и то с отцом, сроду и не бывал. Нет, по реке и думать нечего, надо идти дорогой; ему представилось широкое заснеженное поле и путник, голодный и одинокий, – уходит, уменьшается и, наконец, пропадает в просторе... Есть нечего: оставленный с вечера хлеб и сахарин он уничтожил утром.

– Что делать? – в тихом отчаянии прошептал Серезка.

На одутловатом лице ничего не дрогнуло, словно бы кладовщик не услышал Серезку и даже забыл о нем. Серезке стало так неуютно, так плохо, что он сгорбился, съезжился и провалился бы сквозь землю, когда бы мог, или умер – тут же на месте.

– Сухари возьмешь? – вяло смиловившись кладовщик, будто бы заметил, наконец, просителя, разглядел, какой невзрачный человечешко перед ним и как мало надо, чтобы избавиться от него.

Серезка кивнул, протянул кладовщику карточку. Тот долго пыхтел, отвернувшись к весам, стучал по ним маленькими гирьками, потом постелил на столешницу лоскуток помятой рыжей бумаги, опрокинул на нее жестяную тарелку с весов.

– Мыло, спички и сахарин возьмешь утром, если привезут, – крупу, что значилась в карточке, двести грамм, кладовщик почему-то не упомянул. – Да не проспи, завтра последний день, закрывают. Талоны оставь у меня, будет надежнее: не потеряешь.

Голова у Серезки, хоть он и проспал почти сутки, тяжелая, мутная, соображала плохо. Кладовщик с настороженным взглядом ускользающих глаз

чем-то ему не нравился и доверия не вызывал, но возразить ему Серезка не посмел, проследил только, как тот упрятал талоны в правый карман гимнастерки; взял бережно бумагу с сухарями, прижал к груди, чтобы не рассыпать крошки, медленно пошел к выходу.

Четыре больших сухаря, довесок и крошки. Сухари Серезка рассовал по карманам, довесок взял в руку, крошки аккуратно ссыпал в ладонь и отправил в рот.

Крошки слегка горчили. Посасывая их, в смятении от неопределенности своего положения добрал до сарая, в котором провел он ночи трех, пока что самых трудных в своей жизни месяцев, заглянул. По голым нарам гулял сквозняк – небольшое оконце с противоположной стороны, вделанное в стенку по случаю превращения сарая в барак, оцерилося разбитым почему-то стеклом, ветром в него забрасывало редкие снежинки, падавшие с неба. Тоскливо и жутко стало Серезке от пустоты и одиночества – будто все люди умерли, холод проник до самого сердца. Скрипнула дверь на ветру, словно каркнул нехотя ворон, Серезка вздрогнул, попятился, повернулся и побежал прочь.

Идти было некуда. Попроситься до утра к Ульяне Тимофеевне? А утром что?

Довесок кончился, рука тянулась взять другой, но с беспокойством и тревогой помнилась дорога: сухари даны ему не для того, чтобы он съел их в городе. Голодному путь не осилить, особенно теперь, когда с каждым часом становится холоднее. Хорошие бы рукавички ему, а то рукава у ватника стали совсем короткие. Ватник мать сшила три года назад, тогда, в новом, Серезка чувствовал себя счастливым богачом, обладателем самой прекрасной, удобной и для игры, и для работы одежды, которую он не променял бы даже на царскую шубу. Теперь короткий, узкий

и рваный ватник не спасал даже от слабого ветра, а случись ночевать в поле – в нем околеешь.

Сережку неумолимо влекло к старухиному дому – озябшее тело просилось в тепло; он приблизился к нему, но войти не посмел, стоял и смотрел на то место, где совсем недавно была их кухня. Столы сорваны и исчезли, котлы увезены; снег уже начал укрывать черные пятна кострищ; люди оставили Сережку одного, а природа старалась спрятать следы их пребывания.

– Чего мерзнешь? – Ульяна Тимофеевна вышла на крылечко. – Иди, тебя летенат ждет.

Вахрамеев сидел у стола в шинели и в фуражке, шапки для зимнего времени у него еще не было. Он осмотрел своим здоровым глазом переступившего порог Сережку, рвань, в которое тот был одет, разбитые ботинки; огорченно двинул локтем изувеченной руки, будто ударил кого-то, кто напал на него сзади, вздохнул:

– Как ты?

Лейтенант спрашивал с сочувствием, но Сережке казалось, что они уже разделены, как невидимой стенкой, неумолимой необходимостью уйти из этого дома и друг от друга, чтобы, может быть, не увидеться больше никогда. Язык у Сережки вдруг отяжелел, и он ничего не ответил, только пожал плечами. Что, мол, спрашивать? Не утонул, коли вытащили, и даже не заболел. Вахрамеев склонил голову, словно раздумывая, что спросить еще, но не спросил, сказал только:

– Возьми справку, – запустил руку под отворот шинели, достал из нагрудного кармана гимнастерки две бумажки, пальцами разделил их, протянул одну, – да не потеряй, а то не отчитаешься. Без документа нельзя: заберут, как беспризорника, а если повезет, и не попадешься милиционеру, то в сельсовете без справки о том, что честно отработал

свое, примут за дезертира. Доказывай после...

Сережка повертел в руках небольшой свернутый вдвое листок, не зная, куда его спрятать, потом стащил с головы картуз, засунул документ под надорванную подкладку, но обратно свой убор не надел и так стоял, не подозревая, что вид у него таков, будто он ждет подавания.

– Продукты получил? – привычно строго спросил лейтенант.

– Получил... – Сережка помедлил, решил, что командиру надо отвечать точнее, – сухари.

– И все?!

Сережка виновато промолчал. Желваки на скулах Вахрамеева сдвинулись и вздулись.

– Что говорит?

– Ничего. Завтра, может, привезут.

Лейтенант некоторое время смотрел в пол.

– Ну, вот что, – сказал он после размышления, – где наш магазин – помнишь?

Сережка кивнул. Однажды он ходил туда, получал лейтенантов паек. От сладкого воспоминания у него заныло в желудке: лейтенант отдал тогда ему из пайка маленький плоский пакетик в красивой бумажной обертке и в блестящей хрусткой фольге, как оказалось, шоколадку. Сережка понятия о шоколаде не имел, в деревне у них не было магазина, в небольшой лавке водились лишь соль, спички, мыло и керосин. Отец привозил иногда из соседней деревни конфеты подушечками и пряники, но что бывает на свете такая немислимая вкуснота, представить даже было невозможно.

Вахрамеев поднялся, протянул Сережке и вторую бумажку, которая все еще была у него в руке, свою продовольственную карточку, уже изрядно покровсанную ножницами.

– Пусть Настасья выдаст остатки. Так. Возьмешь себе.

Сережка широко раскрытыми глазами смотрел на лейтенанта Вахрамеева и – не брал.

– Держи! Да не говори, что получаешь себе. Ты понял?

Сережка кивнул утвердительно, но ничего не понял. А как же лейтенант?

– Все! – голос Вахрамеева едва заметно дрогнул. – Простимся. Дай обниму.

Он шагнул к Сережке, прижал его голову к своей груди, коснулся жестким подбородком светлой вихрастой макушки; от шинели пахло табаком, потом и еще какими-то особыми, присущими только военным, запахами.

– Не поминай лихом, – негромко, совсем не по-командирски сказал лейтенант, словно прощенья попросил, отстранился и быстро вышел в дверь.

Глазами, полными слез, посмотрел Сережка на старуху. Лицо Ульяны Тимофеевны было сурово, взгляд далекий, будто не было возле нее ни тощего заморенного Сережки, ни – только что – лейтенанта.

Сережка тихо повернулся и, с картузом в руке, вышел на улицу.

– Мальчик, тебе чего надо здесь? – Настасья, заметив в магазине оборванца, готова была немедленно выставить его за дверь, чтобы не спер чего-нибудь.

– Вот, – пересохшими губами сказал Сережка, – от лейтенанта.

– А! – вспомнила его Настасья, – ты от Николая Ивановича! Что же он не заходит? Ты скажи ему, – она убавила голос, – что Настя ждет.

Сережка почему-то был уверен, что на этот раз продуктов от нее не получит, и не удивился, когда она сказала:

– Какая жалость – почти ничего нет!

И все-таки в душе у Сережки маленькая надежда таилась на самом доньшке, и потому на отказ сердце у него нехорошо ёкнуло – все стало ему безразлично, как в последние, безмерно трудные, голодные и холодные дни. Лучше бы его не вытаскивали из реки!

Настасья сновала зачем-то туда-сюда на небольшом пяточке и продолжала что-то наговаривать своим мягким, певучим голосом; Сережка повернулся и пошел вон; медленно и осторожно пошел, стараясь не зацепить чего-нибудь: проход до самой двери был заставлен пустыми деревянными бочонками и грубо сколоченными ящиками. Он почувствовал вдруг, что в нем вместе с обидой и непрошеными слезами вскипело какое-то новое, неведомое ему ранее чувство – темное, злое, страшное, готовое от малейшего прикосновения взорваться яростью невиданной силы, как бомба, и разнести и самого Сережку, и все, что было вокруг.

– погоди ты! – дошло до него, когда он уже был в дверях. – Вот чумной!

Она догнала его, повернула к себе – бесцеремонно и одновременно ласково, словно мать – взрыва не произошло. Настасья подтолкнула его к прилавку, и он увидел на нем плоскую жестяную банку, блестящую, размером с блюдце, на ней несколько кусочков пиленого сахара, а рядом – совсем небольшой кулек с квадратиками печенья.

– Оголодал? – она сунула ему прямо в зубы один такой квадратик. – Похрусти: «Второй фронт».

Оказалось – галета.

– Пусть товарищ лейтенант завтра забежит, – Настасья заглянула Сережке в лицо, и он увидел в ее больших серо-зеленых глазах глубокую, как омут, тоску. Такие глаза, случалось, бывали у матери, когда она думала, что дети ее спят. – Карточка пусть у меня будет, я заранее отоварю или обменяю. Сумочки у тебя никакой нет?

Сережкино сердце перевернулось. Ему стало жаль Настасью, он подумал, что Вахрамеева, может быть, уже нет в городе, и чуть не ляпнул: «Лейтенант уезжает».

Но что-то случилось с ним – галета распухла в горле и помешала, или полной уверенности в том, что лейтенанту

назначено куда-то ехать, не было – он промолчал. И стыдно ему было своей вспышки; тогда, в миг озверения, сознание ему распоролось мыслью: самому добыть продукты! Где и как он их возьмет, Сережка в ту минуту не представлял, но что возьмет – знал совершенно точно.

Низко склонив голову, Сережка достал из-за пазухи холщовую тряпицу, в которую когда-то мать завернула ему в дорогу припас: горбушку хлеба, луковицу, соль и ломтик сбереженного от глаз Ньюрки и Мишука сала. Теперь он сам завернул в тряпицу банку, на которой было написано, что это сельдь маринованная тихоокеанская (неслыханная роскошь!), сахар и кулек с галетами. Он решил, как бы туго ему ни пришлось, продукты принести домой, в подарок матери: от самого начала войны ничего подобного в деревне даже не видели; мать как-то говорила, что селедка ей во сне снится.

Спрятал свое богатство под рубашкой, поверх ватника подпоясался ремнем; кожаный брючный ремень – единственная добротная вещь, которая не износилась у Сережки, – оставил ему отец, уходя на фронт.

Все. Делать в городе Сережке было больше нечего, он рассчитался с городом, а город, чем мог, отплатил ему.

Глава 3

Дорогу домой Сережка знал приблизительно. Главное – выбраться на другой конец города, а дальше – по тракту, которым их привезли, пока не увидишь в стороне большую деревню Семеновку – от нее до Ждановки недалеко, восемь километров.

Когда Сережка, путаясь в незнакомых улицах и переулках, миновал, наконец, железнодорожный вокзал, пересек пути, вышел на окраину и нашел тракт, он засомневался: день клонился к вечеру, стало еще холоднее, уходить от жилья было страшно.

Он уже хотел было попроситься к кому-нибудь ночевать, остановился, осмотрелся. Дома стояли редко по улице, как в деревне, с такими же огородами, обнесенными жердяными изгородями, чтобы не заходила скотина, и с широкими, по-деревенски, дворами. Но ворота перед домами были непривычно высокими и прочными, закрытыми наглухо – людей не видно, будто они вымерли или попрятались от неожиданных гостей. Сережке даже почудилось, что из-за плотного забора следит за ним настоженный припухший глаз.

Раздраженно заурчал в животе голодный зверь. Надо идти, продуктов у него мало, и если двигаться только пешим ходом, как сегодня, то не миновать ему просить милостыню.

Один сухарь Сережка сгрыз еще днем, когда плутал по городу, ходьба требовала подкрепления сил – в одном месте видел трамвай, но сесть на него не решился. Он начал невольно доставать из кармана другой сухарь, но перебарывал себя, прятал, а через некоторое время вновь обнаруживал его возле губ.

Ветерок дул в спину, снег почти перестал идти. Припорошенная снегом земля скользила под ногами, выкручивала их, идти было трудно.

Никто по дороге не ездил, лишь когда на землю опустились сумерки, беспредельно уставшему Сережке попала навстречу полуразбитая полуторка, изрыгавшая дым и вонь. Как раз при встрече шофер включил единственную фару, которая почти ничего не осветила своим тусклым огнем.

Водитель недоуменно повернул голову в сторону Сережки, и мальчишке стало совсем тоскливо, захотелось вернуться в город, но машина уже протарахтела мимо. Он прибавил шаг, насколько мог, и шел еще с час, пока совсем не стемнело, но никаких признаков жилья не было – ни огней, ни собачьего лая.

Небо очистилось полностью, на нем засияли звезды, но луна куда-то запропастилась. Все же снежок отражал слабый звездный свет, и можно было различить дорогу, поле, темные контуры колков по сторонам и вдруг – силуэт дома на фоне бледного горизонта, в той стороне, где закатилось солнце.

Сердце у Сережки брыкнуло, он рванулся вперед, оскользаясь и падая... Ночь обманула: дом оказался стогом пшеничной соломы. Сережка добрался до него, привалился спиной, сполз вниз и горестно всхлипнул от обиды; дальше идти сил у него не осталось.

Его колотило неудержимой мелкой дрожью, ноги и руки одеревенели, чтобы подняться, ему пришлось встать вначале на четвереньки. Ноги пронзала боль, только теперь Сережка понял, что плохой из него будет ходок: ступни сбиты в кровь. Приваливаясь к стогу, Сережка кое-как обошел его, перебрался на подветренную сторону, начал рыть в стогу нору.

С цыпками на руках это была пытка. Солома уже спрессовалась, выдерживалась с трудом и крохотными клочками. Негнущиеся пальцы от соприкосновения с настывшей соломой зашлись от холода и боли и совсем утратили силу. Сережка скулил от отчаяния, колотил ладонями по коленям, по бокам, дул на руки, бережно прятал их под мышками и, откидываясь спиной на стог, замирал.

И снова наплывал на него морок. Сквозь пелену Сережка чувствовал на себе чей-то испытующий взгляд. Кто-то недобрый насмеялся: слабо умереть? Слабо! Толкал в спину, подвигая во тьму – сдохни, и без тебя жрать нечего! Но исчезал, расплывался, когда Сережка пытался разглядеть его, того, кому принадлежали глаза.

Зато не умолкал голос. Голос был негромкий, ласковый, он вкрадчиво убеждал Сережку, что лучше не мучить себя, а лечь на солому, свернуться клубком, согреться и уснуть надолго – до тех

пор, пока не минуют все напасти: голод, холод, непосильная работа, война, наконец. И Сережка начинал погружаться в этот сладостный мир небытия, ему виделся дом, теплая печь... И – вдруг – тревожные глаза матери: «Сережа! Сынок, не спи!».

– Мама! – Сережка вздрагивал.

Мать, наверное, молится за него. Он спохватывался, уже безучастный к себе, обморочно замиравший от остудной боли, добиравшейся от рук до самого сердца, не мог не подчиниться этому зову, вновь начинал рвать неподатливую солому. Мать следила за ним, умоляла, требовала вернуться домой. «Мама, милая мамочка, зачем ты меня родила?!»

От движений он, наконец, согрелся, лихорадка отпустила, и он почувствовал бы себя почти счастливым, если бы руки не страдали по-прежнему.

Стог сметан был на совесть: ни капли внутри, была бы солома мокрой – запрела бы, было бы тепло, а так – и в глубине стынть, будто тут, в поле, зима утвердилась давным-давно и проморозила все насквозь.

Постепенно нора стала большой настолько, что Сережка мог укрыться в ней. Он уже стал сознавать, что был на краю гибели. И смерть, недавно близкая, казавшаяся приятным и желанным сном, немного отодвинулась и обрела свое жуткое обличье. В этот миг ему показалось, что кто-то бесшумно подкрался сзади – Сережка резко оглянулся, трепыхнулся в испуге, загнанным зверьком застучало сердце в груди. Но нет, никого. Только изломанная Сережкина тень на стогу – это лунный серп объявился над дорогой, вышел из-за колка или из-за дальнего облака вылутился.

Сережка влез в свое убежище вперед ногами, охапкой надерганной соломы закрыл за собой вход. От прикосновения холодной соломы его снова стала бить дрожь. Напуганный собст-

венной тенью, вновь вспомнил о волках, подумал, что стоило потрудиться больше, зато сделать дыру выше, куда зверям не дотянуться. А так они быстро распотрошат его соломенную затычку. «Я им банкой по зубам», – подбодрил себя Сережка, но это не успокаивало, он напряженно прислушивался к тишине: тихо, даже мышей не слышно, только собственное дыхание да стук сердца.

Беда, как ночь, от края и до края накрыла землю. Столько горя принесли людям фрицы, а зачем, какая им от этого польза? Разве их не убивают тоже? Что они думают? Неужели их детям может казаться не горьким хлеб, отнятый у других детей? Что они делают в своей Германии, Сережкины сверстники? Живут в довольстве или тоже работают изо всех сил, чтобы помочь отцам окончательно растоптать нашу землю?

От дыхания в закутке у Сережки стало чуть теплее, он расслабился, наконец, и провалился в сон. Уснул крепко, беспмятно, как после купания в ледяной воде.

Проснулся внезапно, как от толчка, и мгновенно вспомнил, где он, словно бы и не спал. Мороз в поле усилился или ветер переменялся – в норе у Сережки похолодало. Прислушался тревожно: нет ли поблизости зверя или недобрых людей?

Тихо. С бьющимся сердцем проделал небольшую дыру наружу, но ничего не увидел. Ночь еще не кончилась, серая мгла только предвещала рассвет. За время, что Сережка спал, стал он еще более одиноким. Казалось, что никого не осталось живых в мире, и придется ему в одиночестве ходить по земле в вечном холоде и во тьме. И стало Сережке жалко себя, жалко и обидно, что довелось ему появиться на свет в неурочный час, а ведь он никому не сделал зла – за что же досталась ему такая горькая доля?

Холодно. Жутко. Уже не потому, что кто-то недобрый мог появиться вдруг, а потому, что никого нет.

Сережка заткнул дыру, попытался уснуть, но сон не шел, знобило и нестерпимо хотелось есть. Он стал думать о доме, о матери, и тогда мир и пропавшие люди возвратились на свои места. Всем трудно, надо терпеть.

Вольная слеза омыла душу, Сережка успокоился. Он чувствовал тощим животом драгоценную банку с рыбой и ощущал, как самого себя, как пальцы рук и ног, оба сухаря в карманах, галеты в кульке и сахар. Пожевал сладковатую соломинку; желудок, соблазняемый близостью пищи, завопил от Сережкиной скупости, требовал хлеба. Сережка достал галету, откусил крошку и медленно-медленно начал сосать, растягивая удовольствие и намереваясь таким образом обмануть голод и насытиться малым.

Утро родилось в муках, словно никаких надежд в мире уже не осталось; медленно, нехотя, рассеялась мгла, красное, как воспаленный глаз, небо в том месте, где должно было показаться солнце, не сулило перемен к лучшему в наступающем дне. Мороз дожимал свое.

Сережка задубел, сознание чуть брезжило; надо было выползти из норы и двигаться домой, но мысль эта, вялая и отстраненная, будто не имела отношения к нему, не задевала и не беспокоила. Укрыться бы одеялом и спать, спать... Банка мешает и холодит. А мать хочет селедки...

Сережка медленно-медленно разогнулся, вытолкнул затычку, кое-как вывалился следом. Стоя на коленях, непослушными руками, как культями, попытался собрать солому и восстановить нарушенный стог, но сумел лишь сгresti ее в кучку. Долго елозил по земле, пока встал на ноги, ноги были чужие. Отупело переставляя непослушные свои подпорки, заковылял к дороге.

На дорогу он выбрался вместе с солнцем. Оглянувшись. Золотым шатром стояло его соломенное убежище; неласково встретило, но спасло.

Солнце поднялось выше, перестало хмуриться, заулыбалось; снег от его улыбки помягчел, поплыл под ногами; грязь, налипая на ботинки, сделала их тяжелыми, как гири. Сережка с трудом тащил эти пудовки. Он часто останавливался, оглядывался и шарил глазами по дороге в надежде, что кто-нибудь догонит и подвезет его. Но тщетно.

Был не сезон, на попутчиков рассчитывать не приходилось: для телеги пора прошла, для саней не настала.

С осенними работами в деревнях управились, и понапрасну добрый хозяин коня не погонит. На машину и вовсе надежды нет: мало исправных в колхозах, а если у кого и есть, то по такой дороге не поедет – тут попадешь в канаву и уж без посторонней помощи не выберешься. Земля черноземная рыхлая, податливая, пробьешь подмерзшую корку колесами, быстро продавишь влажную землю до глины, та схватит намертво.

Солнце поднялось над дорогой, покатило на запад, а Сережка все шел и шел. Миновал две деревни – видел крыши домов в стороне от тракта, один раз слева, другой раз справа. В одном месте наткнулся на свежий тележный след, проехал кто-то по дороге километра два и свернул в сторону. Один раз за весь день видел людей на поле. Двое, неразлично кто, скорее бабы, нагружали солому на подводку, запряженную парой быков.

Ни присесть, ни передохнуть. Сережка боялся сойти с дороги, чтобы не пропустить попутку. Колени подгибались, и, наконец, Сережка остановился. Глаза закрывались. Он постоял так, собрался с силами, выдрал из грязи, как из клея, одну ногу, тряхнул, но слабо, грязь не отвалилась. Кое-как добрал до канавы, сел на обочину; даже заплакать сил не осталось. Он бы и лег, но знал,

что тогда уже не поднимется. Представление о пройденном пути он давно утратил и почти не чувствовал уже ни избитых ног своих, ни сырой земли, на которой сидел. Достал сухарь, есть ему не хотелось, но он сознавал, что надо подкрепиться, отгрыз уголок, начал медленно жевать.

И вдруг голод вспыхнул с такой неистовой силой, что Сережка, дрожа и раздирая губы в кровь, смолотил сухарь и, не помня себя, вытащил из-за пазухи сверток. Развернул, сунул кусочек сахара в рот и... опаматовался. А как же Мишутка? Что он скажет сестре? Как посмотрит в глаза матери?

Давясь сладкой слюной, завернул надежно свой провиант в тряпицу, спрятал на груди, наново перепоясался ремнем, поднялся.

Пошел по канаве, в канаве не было грязи, она заросла травой, поначалу казалось, что идти здесь легче. Но снегу нерастаявшего здесь было больше, и без того сырые ботинки стали мокрыми, Сережка понял, что скоро окажется босиком, и выбрался на дорогу.

И в этот момент – неужели?! – слышался отдаленный терпеливый вой мотора, а потом и знакомое гроыхание. По тракту вслед за ним ползла полторка, та самая, что вечером попала ему навстречу. Сережка повернулся и во все глаза смотрел на водителя.

Машина остановилась.

Глава 4

Сережка влез в кабину, сел на порванное сиденье, из которого вместе с ватой торчала пружина, сказал:

– Довезите, дяденька, мне в Ждановку.

– Дяденька? – хохотнул сиплым голосом шофер и тут же ругнулся: – Паскуда! Пока едешь – работает, остановишься – глохнет.

Водитель неуклюже вылез из машины, достал из-под сиденья железную

рукоять, начал заводить – полуторка дергалась, чихала, но тут же глохла вновь.

– А ну, парень, нажми стартер – вот здесь – и отпусти, – он кинул шапку на сиденье – упарился, и... Сережка увидел толстую косу, выбившуюся из-под телогрейки.

Девушка была молодой, моложе, наверное, Натальи и Арины, с которыми Сережку отправляли на лесозаготовки, только лицо у нее кажется грубым из-за того, что чумазое. Шапка, мужские суконные штаны и, главное, хриплый голос обманули Сережку. А водитель ему с самого начала показался странным – невысоким, ниже его, кургузым и широкозадым.

– Чего вытаращился? – засмеялась она, когда мотор, наконец, ожил, и она заняла свое место. Передразнила: – Дяденька! Не видел таких замазух?

Сережке было неловко оттого, что обознался, он опустил взгляд, увидел ее колено, туго обтянутое серой штаниной, нахмурился и стал смотреть вперед, стараясь незаметно ладонью прикрывать рвань на своих тощих и грязных ногах.

Девушка бросила рукоять под ноги, закусив губу, выжала сцепление и включила скорость – машина слегка дернулась и, подвывая и соскальзывая в рытвины, поползла вперед. Лицо у нее стало серьезным и сосредоточенным: разогнать машину на скользкой избитой дороге и не съюзить в канаву было не просто.

– Откуда чапаешь? – спросила она, когда дело наладилось.

– Лес разгружал. В городе.

Она мельком взглянула на него, качнула головой, вздохнула:

– Да-а. Ждановка твоя где? Я такой не знаю.

– А мы – в стороне, за Семеновкой.

– Ага. Удрал?

– Нет. Закончили.

– Почему один?

Сережка коротко рассказал, как из Ждановки его одного оставили на разгрузке барж, а остальных отправили в лес.

– А я вот, дура, ездила запчасти для МТС получать, – она крякнула по-мужицки, будто ругнулась. – Всего два коленвала дали да ящик с болтами. Тьфу! – помолчала, подумала немного: – Могли и вовсе ничего не дать.

От мотора в кабину шло тепло, Сережка согрелся, глаза у него стали слипаться, его мотало из стороны в сторону, несколько раз он сильно ткнулся лбом в стекло.

– Разобьешь! – и тут же пожалела: – Умаялся, бедненький. Голодный, поди?

Могла и не спрашивать. Она видела Сережкино лицо, когда он влезал в кабину: от боли и усталости голубые глаза его поблекли и стали заволакиваться белесой мутью – верный признак того предела человеческого терпения, за которым наступает смерть или ожидает безумие.

Сережка уловил в ее голосе заботливые бабьи нотки. Промолчал. Она некоторое время сосредоточенно смотрела вперед, потом, когда миновал трудный участок дороги, расстегнула левой рукой верхние пуговицы на ватнике, а там и на кофте, достала небольшую горбушку хлеба, переломила пополам, уперев в колено:

– На, пожуй, – откусила от своей половины и проделала все в обратном порядке: спрятала хлеб, застегнула пуговицы.

Сережка не смог отказаться. Хлеб, согретый её грудью, оказался теплым, словно не успел остыть после печи, и был необыкновенно вкусным. Сережка съел его и осоловел окончательно; не противясь руке, которая потянула его к себе, привалился лицом к пахнущему бензином и солидоллом девичьему боку и, согретый теплом и урчанием машины и заботой своей спасительницы, уснул крепко и спокойно.

Самые счастливые два часа своей жизни Сережка проспал; они потому и были счастливыми, что можно было спать в то время, когда дом приближался. Почти угасшая жизнь опять возвращалась в Сережкино тело.

– Вставай, а? – сильный голос был негромким, но настойчивым. – Проснись! Приехали!

Одной рукой она обняла его за плечи, удерживая в сидячем положении, другой легонько ворошила спутанные Сережкины волосы и дула ему в лицо.

А он, глубоко убаюканный качкой, теплом и чувством безопасности, все никак не мог расстаться с безмятежным видением: лежит он на возу с пахучим сеном под голубым небом, с которого льется на него благодатный солнечный свет, обдувает его приятный ветерок и мельтесят над ним синие мотыльки, норовя сесть на лицо. Ему щекотно, он улыбается лету, солнцу, всей той жизни, что не знала войны. Невидимая с воза лошадь облегченно вздыхает, втащив телегу во двор, телега останавливается, и мать говорит Сережке почему-то хриплым, как у отца, голосом:

– Приехали!

Он соскальзывает с воза на землю, мать подхватывает его, чтобы не упал, а он обнимает ее и целует в шею. Пахнет от нее почему-то, как от отца...

– Э-э! – смех, и Сережка чувствует, как его отстраняет от себя – уже не мать.

Он очнулся, очумело хлопая ресницами, смотрел в незнакомое чуждое лицо, усталое, но улыбчивое. Все вспомнил.

Машина стояла посреди дороги, мотор исправно работал на холостом ходу, за кабиной – первосумерки, слева от дороги – поле и справа – поле.

– Тебя как звать? – спросила она, надевая на него фуражку.

– Сережка.

Она вздохнула:

– Вон Семеновка, Сережа, – он увидел в той стороне, куда она показала, крыши домов. – Доехали.

Он отодвинулся. Медленно – расставаться с уютной кабиной, чтобы снова брести по пыточной дороге, не хотелось – нерешительно открыл дверку и замешкался: надо было что-то сказать ей и не знал – что. Может быть, сказать, что всегда будет помнить ее и пусть она заезжает в Ждановку, они все – мать и Нюра, и Мишук – будут рады. Если не сможет теперь, пусть после войны приезжает, отец тоже обрадуется...

Но язык для таких слов был непривычен. Сережка ничего не сказал, сунул руку за пазуху, нащупал в холстине кулек с галетами, после недолгих колебаний достал его, положил, потупясь, на сиденье и спрыгнул на землю.

– Стой! – сказала она, но это только подхлестнуло его. Откуда силы взялись? Сережка рванул через канаву, выскочил на колею проселочной дороги, отбежал шагов десять и оглянулся. Она стояла впереди машины, положив руку на радиатор, смотрела, наклонив голову, ему вслед.

– Дурачок, – сказала негромко неожиданно очистившимся от хрипоты приятным девичьим голосом, – глупенький.

– Спа-си-бо! – Сережка некоторое время шел спиной вперед, потом повернулся и, прихрамывая на обе ноги, деловито зашагал к деревне.

Глава 5

Галеты оставил. Жалко? Сережка не мог ответить на этот вопрос. Оттого, что не пожадничал, будто посветлело на душе, а перед Нюркой и Мишуком – виноват, вот и разберись.

Ну, ничего, сейчас хлеб дома должен быть. Дали на трудодни, наверное, хоть сколько-нибудь. Всю прошлую зиму навоз с фермы на поля возили, дожди были летом – урожай ожидался хороший. Перед войной отец полную подводу, с верхом, зерна домой привозил, а

прошлогодний хлебушко мать на себе, не тужась, принесла.

Сережка достал из кармана последний сухарь: теперь он уже не сомневался, что доберется домой.

Если бы дали по полкилограмма на трудовень... Жирно будет, хотя бы граммов по двести, и то хорошо: с картошкой, огурцами, свеклой, морковкой да капустой – жить можно было бы! Только успела ли мать управиться на своем огороде? Ну, разве оставит она его? Лишь бы не захворала; выкопала, конечно, и картошку, и репу. Да и Нюрка там... уже не маленькая.

Мысль о сестре, вильнув змейкой, вернула его на дорогу, к девушке-шоферу. Смелая. Сережка оглянулся. Полуторка была бы еще видна, но сумерки уже надвинулись и поодаль сравняли все – небо, землю, машину. Мелькнули две крохотные звездочки низко над полем и пропали. Может быть, это свет задних огней или они у нее не горят?

Не спросил, как зовут. Оробел вдруг. Наверное, Дашей. Даша – хорошее имя. Сережке нравится. Добрая – угостила его теплым хлебом. Не мог он остаться в долгу, вот и вытащил галеты. Ей еще крутить и крутить баранку, нахлебается в темноте по такой дороге, хорошо, если машина не подведет. Свечи – барахло, факт, а бабы что понимают? Ну, она, кажется, толковая: все лицо забрызгано, откручивала, значит. Да толку, видно, чуть.

Видел Сережка, что не хочется ей отпускать его, тоскливо оставаться ночью одной на дороге... А он драпанул.

Будто шилом ткнули Сережку в спину, он резко обернулся. Парных светляков на поле стало много, они бесшумно передвигались над озимыми, и хоть в серой мгле трудно было понять, далеко это или близко, но было ясно: они движутся в его сторону. Волки!

Сережка побежал по улице до ближней избы, где горел свет в окне, постоял напротив, но подойти, постучать не решился. Если бы не волки, отправился бы домой, не задумываясь, а так – надо проситься на ночлег.

Увидев идущего по улице мужчину, Сережка поторопился ему навстречу. И вовремя: мужчина свернул к дому.

– Дяденька! – позвал Сережка. Тот повернул голову в его сторону, задержал шаг. – Дяденька, – несмело повторил Сережка, теряя уверенность по мере, того, как подходил ближе, – пустите переночевать.

Мужчина молча, не глядя на Сережку, пожевал губами. Лицо его, заросшее щетиной, было угрюмым, а поза выражала сомнение.

– Я из Ждановки, – против воли голос у Сережки задрожал, и в нем появились жалостливые нотки. Мужчина вздохнул. – Дяденька, не бойтесь, я – сытый!

– К-хе, – мужчина хотел что-то сказать, но поперхнулся, пошел к воротам, связанным из одних жердей, между которыми во двор мог легко пролезть взрослый, не только Сережка: доски с ворот были сняты на дрова или для другой надобности. И покосившаяся рама калитки тоже зияла насквозь. Мужчина отворил ее, оглянулся:

– Что стоишь? Заходи.

В сенях хозяин приостановился, тронул Сережку за плечо:

– Ты – того, не думай: места не жалко, у нас это – малость нехорошо.

«О» в словах у него круглое, выпирает, и кажется, что вот-вот выкатится.

– Здравствуйте, – сказал Сережка, переступив порог, и стащил с головы фуражку.

В доме топили плиту, свет из раскрытой дверцы ее падал под ноги вошедшим и освещал лица трех ребятшек – двух девочек, примерно четырех и шести лет, и мальчишки, немного постарше

их. Они грелись у огня, сидя на корточках у открытой топки, и дружно повернули головы, когда отворилась дверь.

На Сережку ребятишки уставились с недоумением, словно в дом к ним никогда не заходили посторонние люди.

— Здравствуйте, — неуверенно сказала девочка постарше, а за ней эхом с той же неуверенностью поздоровалась малышка.

Больше никто не отозвался, хотя у плиты над чугуном виднелась и женская фигура; Сережка подумал, что это мать ребятишек.

— Темно, — сказал ей хозяин, — запали лампу.

Она немедленно исполнила приказание, шагнула к ребятишкам, наклонилась, взяла с пола лучину, сунула в огонь, зажгла; подошла к столу, сняла свободной рукой стекло с лампы (стекло было заранее почищено), положила его на стол, вывернула фитиль, поднесла к нему лучину, вставила стекло, убавила огонь, чтобы лампа не чадила и давала ровный свет.

Сережка с волнением следил за каждым ее шагом. Так же вот, наверное, и у него дома сейчас мать или сестра зажигают лампу...

Мальчишка забрал чадящую лучину и бросил в печь. При свете Сережка разглядел, что это не мать ребятишек, а их старшая сестра. Было ей лет шестнадцать на вид, и все, что должно, в ней уже округлилось, словно бы и не было никакой войны и постоянного недоедания.

— Па, — негромко пожаловалась девушка отцу, — она опять не ела.

Отец посмотрел в сторону тьмы на печи, нахмурил свой и без того морщинистый лоб, но сказал другое:

— Посади гостя.

— Проходите, — серьезно и вежливо, как взрослому, сказала девушка Сережке, — вот сюда.

Хозяин умылся, достал с полатей старые валенки, надел и подсел к Сережке.

— Ты откуда?

Сережка объяснил.

— А чей?

— Узлов. Павла Семеновича сын.

— А-а. Нет, не знавал, — хозяин устало вздохнул, свесив тяжелые кисти рук с колен, о чем-то задумался. Потом поделился заботой с Сережкой, как с ровней:

— Соли нет — беда. Капуста вся в кладовке лежит несоленая, огурцы скотине скормил, — спросил: — Сколько еще будем с им биться?

— Н-не знаю.

Сережка припомнил, как много в конце лета и начале осени говорили по радио о победах — на Курской дуге, под Харьковом, Смоленском и Новороссийском... Напали фашисты на нас вероломно, воспользовались моментом: пока наши силы собирали, они много земли и городов захватили. Но теперь Сталин дал приказ, и не будет врагу пощады.

Картошка сварилась, девушка слила отвар из чугуна в небольшую бадейку; картошку вывалила в огромную, как таз, миску, поставила на стол. От картошки валил пар, почти забытый за три месяца запах ударил Сережке в ноздри. Он встал и отошел от стола в запечье, сел на лавку, по которой хозяева взбирались на полати.

Девушка принесла половину каравая из сеней — хлеб был серый, военного, хорошо знакомого Сережке замеса, — взяла нож, стала резать. Сережка старался не смотреть в ту сторону, но видел мельком и хлеб, разрезанный на восемь частей, и картошку, исходящую паром, и крупномолотую соль, одну щепоть, в темной казеиновой тарелке, и ребятишек, которые заняли свои места за столом и немедленно приступили к делу: выдернули из миски по картофелине и, обжигаясь, начали счищать с нее пленку кожуры.

— Хоть ты и сытой, а садись, — кивком указал хозяин Сережке на табурет у стола. По голосу его нетрудно было до-

гадаться, что он твердо знает, что любой гость в эту пору – голодный. – Да куфайку-то сыми, натопилося уже, чего преть?

С печи, из тряпья, которое успел разглядеть Сережка, когда подходил сюда, слышно было хрипловатое, неровное дыхание больного человека. Вот почему сказал хозяин Сережке, что у них нехорошо: помирает человек. Его зовут к столу, а что же та, которая «опять не ела»?

Голод-зверь давно ожил в Сережкином теле, он нерешительно взялся за ремень – снять ремень значило обнаружить банку с рыбой, которую надо было непременно донести домой. Именно вот с такой картошкой, «в мундерах», мечтала поесть селедки мать.

Хозяин подошел к Сережке, стал ногой на лавку, потрогал больную ручкой.

– Слышь-ка, иди ужинать. Давай, помогу слезть.

В это время Сережка увидел, как из горницы, шаркая ногами по полу, вышла седая старуха, пристроилась на край лавки за столом, рядом с внуком. Стало ясно, почему хлеб порезали на восемь кусков: семеро в семье, Сережка – восьмой.

На печи никакого движения не обозначилось, только хрип прервался, когда последовал короткий слабый отказ:

– Не хочу.

Хозяин посмотрел на Сережку, словно прощения просил: вот, мол, парень, какие наши дела, положил руку на его плечо, остро выпиравшее из-под «куфайки», легонько направил в сторону стола.

Придерживая банку под полой – ремень он снял и вместе с фуражкой положил на скамейку, – Сережка сделал два неуверенных шага, в ушах у него все еще слышался слабый исчезающий голос: «Не хочу», приостановился, пронзенный внезапной догадкой: может

быть, она чего-то хочет?! Даже дыхание притаил: больная, наверное, как Сережкина мать, тоже поела бы селедки! Но – умрет и никогда не узнает... Кровь отхлынула от лица, Сережка медленно повернул голову:

– Дядя, – шепотом спросил он, – вас как зовут?

– Иваном, – ответил хозяин и, помедлив, добавил: – Матвеичем.

– Дядя Иван, – прислушиваясь с удивлением к своему шепоту, словно бы он исходил откуда-то со стороны, продолжал Сережка. – У меня – вот!

Он вынул свою ношу из-под полы, подержал сверток у груди – напоследок, будто можно было еще передумать и остановиться, потом прошел на ослабевших ногах к столу и на свободном краю развернул.

Все притаились.

Ребятишки переводили взгляды с белых квадратиков сахара на блестящую банку, Иван Матвеевич и старшая дочь смотрели в стол перед собой, и только старуха изумленно воззрилась на Сережку, как на чудотворца, перед тем она не замечала его. Сережка видел: они испугались, словно бы давно ожидаемая в доме беда – вот, пришла!

– Что это? – тоже переходя на шепот, спросил Иван Матвеевич и, наконец, оторвал взгляд от стола, исподлобья недоверчиво посмотрел Сережке в глаза.

– Открыть... – совсем тихо, одними губами, распорядился Сережка.

В банке, остро пахнувшей прянощами: лавровым листом, перцем и маринадом, было восемь ломтиков – шесть в ряд и по одному сверху и снизу – ровно столько, сколько было в доме людей, как будто чья-то добрая рука заранее знала про этот случай.

Иван Матвеевич слизнул с ножа темно-коричневый рассол, изумленно посмотрел на окружающих, только теперь, похоже, поверил, что ему не блаз-

нится, неожиданная улыбка озарила его лицо.

— Мать, — сказал он громко в сторону печи, — слазь скорей, тут — селедка! Помоги, Катерина.

И сам немедленно пошел вслед за дочерью.

— Селедка... — слабый голос был полон горечи, укоризны и непоколебимой убежденности в том, что ее лишь манят к столу, а ни о какой селедке речи быть не может.

— Право слово! Давай руки.

Но уже распространились по избе запахи, и были они красноречивее всяких уговоров.

— Ва-ся?! — у Сережки мурашки по спине побежали от этого ее вскрика, столько в нем выплеснулось печали, надежды и радости. — Ва-сень-ка приехал?!

Простоволосая старуха с вздрагивающей от слабости головой спустила с печи неимоверно худые ноги. Сережке стало не по себе: две старухи в доме, а где же мать ребятишек? И кто тот Вася, за которого его принимает умирающая?

— Постой! — Иван Матвеевич едва успел подхватить падающую с печи больную, поставил на пол. — Чуни-то надень.

Она как была босиком, так и устремилась к столу и к Сережке. В глазах ее, казалось бы, уставших от жизни и потухших навсегда, зажглись безумные огни, она не понимала, зачем ее задерживают, зачем надевают на ноги старые, с обрезанными голенищами, валенки и заталкивают руки в рукава кофты.

— Сережка это, Узлов, — негромко, внушающе сказал Иван Матвеевич, — рыбой нас угостил. Иди, поешь.

За столом, когда ее посадили рядом с Сережкой, она разглядела его и опамтовалась, зажав ладони коленями, стала покорно ждать, как с ней распорядятся дальше. Голова ее на тонкой синюшной шее медленно колыхалась из стороны в сторону, как осиновый лист на слабом ветру.

Катя поставила перед ней жестяную тарелку, положила на нее ломтик хлеба, начала очищать картофелину.

Иван Матвеевич стоя раздавал рыбу — подцеплял ложкой, придерживая большим пальцем, осторожно вынимал из банки и, внимательно следя за тем, чтобы капля драгоценного рассола не упала на стол и не пропала зря, переносил на тарелку. Первый ломтик, из середины банки, положил Сережке, второй — больной:

— Ешь, Семеновна.

Когда Иван Матвеевич занес руку над банкой в третий раз, по его посветлевшему от радости лицу пробежала тень. Рука повисла в воздухе. Он посмотрел на Сережку озадаченно, будто забыл враз, кто это и откуда взялся, медленно повел головой, осмотрел тем же недоумевающим взглядом застолье — старух и детей, ждущих, что будет дальше, снова обратился лицом к гостю:

— У тебя дома-то кто?

— Мама, — Сережка смутился, словно его уличили в воровстве, опустил голову, добавил тише, — и Мишутка с Нюркой.

За столом все разом, кроме больной, занялись картошкой.

Сережка и без того чувствовал себя несчастным — от взгляда Ивана Матвеевича, а как от него отвернулись даже малыши, так готов был умереть от горя. Но не умер, смотрел в лицо Ивана Матвеевича и кричал молча: «Домой не понесу!». И захлебывался в невидимых слезах. Хозяин и сам понимал, что не дать теперь своим детям рыбы — невозможно, но невозможно было и отнять ее у тех, кому нес эту рыбу Сережка. И тогда Иван Матвеевич взял нож и разрезал очередной ломтик пополам. Всем остальным выдал по половинке; три кусочка остались в банке нетронутыми. После чего он аккуратно прикрыл крышку, придавил большим пальцем и посмотрел на

гостя, словно ждал подтверждения, что сделал, как должно.

У Сережки посветлело на душе, он улыбнулся сквозь кипевшие на глазах слезы и посмотрел на больную, приглашая и хозяина обратить на нее внимание: старуха к пище не притронулась, она по-прежнему сидела, зажав руки в коленях, и все так же качалась голова ее на тонкой шее.

– Давай, очищу, – сказал ей Иван Матвеевич. Она отрицательно мотнула головой и от резкого движения чуть не повалилась с табурета.

– Ты чего? – удивился отказу Иван Матвеевич. – Я же вижу: хочешь!

Она облизнула сухие губы.

– Все одно помру, – две скупые слезы покатались по лицу, – зря пропадет.

– Ты мне эту дурь брось! – строго сказал Иван Матвеевич и кончиком ножа вспорол ломтик по брюшку.

Взгляд больной вдруг вновь вспыхнул безумием, она неожиданно быстрым движением выхватила свою долю из-под ножа, впилась в селедку ртом и стала судорожными сосущими движениями впитывать в себя живительную влагу.

Глава 6

Ночью мороз был сильный, землю припорошило слоем свежего снега, природа, словно мать, ожидая сына домой, выстелила на поля и дороги большую чистую холстину. Шагая по застывшей колее, Сережка думал о том, как ему повезло: сперва с машиной, потом с ночлегом – замерзнуть в такую ночь ничего не стоило.

Спал он у теплой стены, у печки, сладко, как, бывало, дома. Засыпать он начал еще за столом – сказывалась дорога и те три месяца работы, которые, казалось ему, утомили его на всю оставшуюся жизнь. И вообще, будь у него такая возможность, лег бы он спать на целую неделю.

Он с трудом стащил с ног ботинки, засунул в них протертые свои носки, сделанные матерью из старых чулок, прошел, как велела седая старуха, на чистую половину дома и хотел поваляться на большой сундук, на котором уже была постелена старая шуба, но старуха повернула его к широкой лежанке, где обыкновенно спала сама – одна или с кем-нибудь из малышей.

– У меня грязные, – с трудом ворочая отяжелевшим языком, сказал Сережка, – гачи.

На штаны за дорогу намоталось и насохло грязи до самых колен, а снять их он не мог, потому что от трусов у него осталось одно название.

– Нешто это грязь? Это, сынок, земля. Земля грязной не бывает, – она легонько подтолкнула его. – Ложись, ангел, к теплу, а я – с краешку.

Утром он пробудился последним, после того, как поднялись Иван Матвеевич, старуха и Катя. Он хотел одеться и незаметно улизнуть, чтобы не дожидаться завтрака, но старуха увидела, что он зашевелился, остановила:

– Погоди-ка, – сказала, – ноги забинтую. Она зажгла лампу, принесла и поставила на табурет напротив. При свете Сережка с удивлением обнаружил, что ноги ниже колен у него чистые, протертые, видимо, влажной тряпкой, а потертые места и цыпки чем-то смазаны. Кожа на ногах помягчела и стала не такой болезненной, как была с вечера. Крепко же Сережка спал, если не почувствовал, как старуха лечила его!

Она забинтовала ему обе ноги белыми лоскутами, подала носки, чистые, сухие и заштопанные; принесла ботинки, тоже чистые и просушенные, вытащила из них ветошь, которой она набила ботинки с вечера, чтобы при сушке они не скукожились:

– Налезут? Да не так, кулема! – командовала она Сережкой ласково, но решительно, как собственным внуком. – Вот эдак.

Помогла ему обуться так, чтобы тряпицы на ногах при ходьбе не сбились. Нарочито грубоватым обращением она прикрывала свою жалость и озабоченность бедственным Сережкиным положением; душа его, которая исподволь, незаметно для него самого ожесточилась невзгодами последних дней, душа отмякла и отзывалась щемяще и сладко на малейшее проявление доброго чувства. Казалось ему: он – дома; хотелось смеяться и плакать. Но, как и старуха, Сережка был с виду деловит и озабочен, собирался в путь обстоятельно и надежно.

Его заставили поесть на дорогу; опять была картошка, чай, заваренный чагой, березовым грибом, а к чаю – пареная репа, вместо пирогов.

Оставшуюся селедку ему завернули в обложку от старой ученической тетради, и сахар – все шесть кусочков – в отдельный лоскуток бумажки, видимо, из той же тетради. Он начал протестовать, но Иван Матвеевич цыкнул на него:

– Того! Давай без этого.

Вышло смешно. Катя засмеялась, и в первый раз за все время Сережке показалось, что в хмари, темной тучей стоявшей в доме, появился просвет. Будто свежий воздух проник в тревожную духоту застоявшейся беды, дышать стало легче.

Иван Матвеевич попрощался и ушел, бабушка занялась во дворе скотиной, Катя одевалась, чтобы идти на работу и заодно проводить Сережку, а он не мог просто так уйти. Он чувствовал на себе взгляд с печи и терзался внезапно возникшим в нем пониманием того, что от него, может быть, зависит: жить или умереть старой женщине. Вечером она соблазнилась соленой рыбой и поела, а когда у человека появляется аппетит, то – кто ж этого не знает? – он может справиться с хворью. Сережка отошел к тому углу стола, который не могла видеть больная, развернул свой по-

худевший сверток и отделил из него одну селедочную дольку. И сахар ополовинил сперва, а потом, глянув украдкой в сторону Кати, выложил на стол четвертый кусочек. Они с матерью обойдутся без сладкого. Быстро завернул остатки, на ходу спрятал под ватник.

Девушка догнала его у калитки, заглянула сбоку в лицо:

– Ты чего помчался?

Она почему-то сильно встревожилась.

– Так, – буркнул Сережка, пряча улыбку. Он подумал, что если Бог есть, то дома должно быть все хорошо.

Глаза у Кати потептели. Они у нее карие, светлые, цвета янтарного меда... Постояли еще недолго, она сказала напоследок:

– Приходи к нам завсегда, как будешь в Семеновке. Ладно?

Ботинки плотно сидели на ногах, ногам тепло и почти не больно, дорога ровная, не избитая, шел Сережка, словно пел. Будто живой водой его окропили и вернули с того света на этот – тяжелый, мучительный и горький, но такой прекрасный и желанный.

Чем ближе подходил к своей Ждановке Сережка, тем сильнее билось у него сердце. Всмотривался в знакомые очертания околицы, в крыши домов и тревожился все больше и больше: ни дымка над трубами, ни звука – дверь ни одна не скрипнет, не слышно ни голоса человеческого, ни собачьего лая. Деревня словно вымерла.

Помимо коровника со свинарником да тракторного двора, одна улица в Ждановке; избы стоят молчаливо по обе стороны проселка, ставни на многих окнах закрыты – берегут тепло, но Сережке кажется: смотреть на него не хотят, не ждут, а может, и ждать некому.

Вот и четвертый дом от края. Ноги у него ослабели вдруг, задрожало веко, но разглядел на снегу три цепочки следов: две со двора и одна обратно. Большие следы – мать на ферму ушла, маленькие –

к колодезному журавлю и назад – Нюра воды на коромысле принесла: у калитки выплеснулось из обоих ведер...

Дома все было по-прежнему. Незыблемо стояла печь посреди избы, разделяя ее на две половины, из подпечья торчали сковородник, ухват, деревянная лопата, которой сажают в печь хлеб, когда есть что сажать, в углу – кочерга и полынный веник; привычно пахло вареными картофельными очистками, которыми подкармливали корову и кур.

Нюрка бросилась брату на шею и быстро, как ласковый щенок, обцеловала-облизала ему все лицо. Мишук, посапывая, вылез из-под стола – что-то приколачивал там, – но к брату не подошел, смотрел исподлобья, заложив руки за спину. Сережка сам подступил к нему, тоже набылчил голову, нагнулся и легонько боднул.

– А мамка на лаботе, – сказал на это серьезный брат.

– Ну?! – Сережка обхватил Мишутку, поднял и, будто покусывая за ухом, спрятал от младших свое лицо.

– Все ждановские уже вернулись с лесозаготовок, – рассказала сестра, – замученные, а дед Задорожный так и вовсе больной. Его там сильно помяло бревном, которое посунулось на крутом склоне.

– Дедушко помлет, – Мишук внимательно слушал разговор и решил, что сестра не сказала главного.

– Ты уже полные ведра носишь? – без всякой связи с разговором спросил сестру Сережка.

– Давно, – Нюра приняла это как похвалу, одновременно недоумевала: откуда брату известно?

Не раздеваясь, Сережка пошел на ферму, чтобы показаться матери. Они там толком и не поздоровались: мать несла сено на вилах, ткнулась сухими шершавыми губами ему в щеку – и все. «Здоров?» – засияли глаза. И Сережка включился в работу: носил в тесный саманный коровник с крохотными подслеповатыми оконцами под крышей се-

но, раскладывал в ясли; нагружал на сани навоз и вывозил, то и дело попадая ногами в рытвины на земляном полу, заполненные жижей; помогал матери и дояркам таскать фляги – пустые и с молоком; крутил ручку сепаратора, а после помогал разбирать и мыть его. Домой пришли после вечерней дойки, когда уже стемнело.

Нюрка, полновластная хозяйка в доме, к тому времени тоже подоила корову. А еще она затопила плиту, сварила ужин, подмела пол, умыла бунтовавшего против воды младшего брата.

Сели за стол. Скучные городские гостинцы лежали нетронутыми. Вымученно улыбаясь, Сережка развернул свой стыдливый припас:

– Вот: сахар маленьким, а взрослым – селедку.

– Ага! Я тоже середку! – Мишук, оказывается, научился выговаривать р, но вставлял этот звук не там, где надо.

Сахар для него никакой ценности не имел, он просто не знал, не помнил, что это такое, как, впрочем, не знал и вкуса соленой рыбы, но раз взрослым полагаются селедка, то и ему ее надо: Мишук тоже хотел быть большим.

Мать отвернулась на минуту, будто по делу, к плите, покусала губы, чтобы остановить ненужные слезы, готовые выкатиться наружу, улыбнулась и посмотрела на сына с любовью и гордостью, словно бы он не два измятых и уже подсохших кусочка рыбы домой принес, а геройский подвиг совершил – немецкий танк подбил или фашиста в плен взял.

Селедку она порезала наискосок тонюсенькими ломтиками – получилось много, уложила лесенкой на тарелку, сверху луковичными колечками украсила.

– Праздник, – вздохнула, – мужчина в дом вернулся.

На что мужчина неожиданно для всех и для себя швыркнул носом: промочил на ферме ноги, вот и приключился насморк от простуды.

Глава 7

Две недели метался Сережка в бреду – вновь по команде лейтенанта Вахрамеева добывал под палящим солнцем тяжеленные бревна из реки, окунался в ледяную воду, проваливался в темный трюм и, ожидая удара о жесткое дно баржи, весь сжимался и покрывался потом. Но удара не следовало, и он все падал и падал вниз, преследуемый безжалостным взглядом из-под припухших прищуренных век. «Одним едоком меньше!» А потом долго, задыхаясь от напряжения, лез по бревну на мерцающий в вышине свет, но оскользнулся и опять падал, переживая ужас падения в сотый, а может быть, и в тысячный раз.

Очнулся Сережка ночью. Тихо. Открыл глаза. Коптила лампа на столе, мать сидела рядом, уронив голову на сложенные на спинке стула руки, дышала ровно.

«Долго же я дрых», – подумал Сережка, смутно припоминая, что он, кажется, вставал и даже не один раз, куда-то двигался и что-то делал, а рядом с ним неотлучно была мать и руководила им.

Но Сережка ошибался. Мать обихаживала его только ночью, а днем она уходила на ферму, потому что скотину, голодную и недоенную, не бросишь. А заменить мать на ферме было нечем.

Сережка чувствовал легкость и невесомость в теле, будто бы бревна, которые так долго давили его, наконец свалились. Но одновременно с легкостью владело им ощущение немощности – надо бы повернуться, а он не мог, не умел этого сделать, как младенец, только что народившийся на свет. Еще он боялся потревожить сон матери, и потому лежал, не шевелясь, и старался дышать бесшумно.

Однако сторож, недреманно живший в ней, толкнул мать.

Она подняла голову, встретила взгляд сына.

– Слава богу! – выдохнула.

Сережка подумал, что сейчас мать заплачет, и деликатно отвернулся. Но глаза ее остались сухими, в них даже угасла вспыхнувшая было радость – так она устала.

– Есть будешь? – мать от усталости с трудом выговаривала слова.

– Пить. Молочка бы...

Мать помогла ему сесть. У Сережки от движения все закружилось перед глазами, затуманилось, но вскоре прояснилось и стало на место. Она взяла со стола стакан:

– Кипяченое.

– Вкусно, – он осилил полстакана, и его потянуло к подушке, – парного бы испить.

– Нету парного, – мать с трудом отвела взгляд от оставшегося молока, – корова уже не доится. Это тебе Шурка принесла.

Она вернула стакан на место.

Сережка пошевелил мозгами:

– Сколько же я болел?

– Я знаю? – она разговаривала, уже не открывая глаз. – Долго.

– Ты ложись, – сказал Сережка.

Она покорно, словно бы только и ждала этих слов, побрела к топчану и, не раздеваясь, как куль, повалилась на него.

Отец, может быть, письмо прислал, а Сережка не спросил у матери и досадовал на себя, пока тоже не уснул.

– Ничего не прислал, – сказала сестра Сережке утром. – А мамка-то не встает.

Мать проспала утреннюю дойку, не поднялась к обеденной, и ни на какие попытки Нюрки разбудить ее не реагировала. Тогда Нюрка решила подоить коров сама.

– Вы поживите тут без меня, – сказала она братьям, – я пойду. Мишутка подаст, если чего понадобится.

Она уже оделась, но тут пришел председатель.

– Так, – сказал он вместо приветствия, – полный лазарет. Ты, значит, за место матери пойдешь?

– Ага. Я умею, дядя Назар.

— Знамо дело, — председатель сел на табурет, поставил меж ног длинную палку, которой он пользовался, как посохом; когда Сережка уезжал на лесозаготовки, Назар Евсеевич в подпорках не нуждался. — Выручай, Аннушка, больше некому. Я сказал бабам, чтобы взяли по две-три из вашей группы, но остальные, значит, твои.

Нюрка ничего не ответила, ждала, что еще скажет председатель. Он молчал, словно забыл, где он находится, и думал лишь о том, как лучше прожить минуту покоя, столь неожиданно выпавшую ему. На впалом лице его, поросшем седой щетиной, застыло выражение заботы, которую не избыть вечно, даже тогда, когда Назар Евсеевич успокоится в могиле. Заметно сдал председатель за время, что Сережка не видел его.

— Ты хорошо дои, — наказал Мишук сестре, — а то дедушка Назар тебя палкой!

Младший брат долго смотрел на посох и, наконец, додумался, для чего он нужен.

— Она хорошо подоит, — пообещал без улыбки Назар Евсеевич. — А я не дерусь.

— Так мне идти?

— Да, иди.

Нюра ушла. Назар Евсеевич посидел в раздумье еще минуту, положил руку на плечико Мишутке, который, услышав, что председатель смиренный и не дерется, осмелел и терся у его колена, вздохнул:

— Вот так, Михайло Павлович, давай расти скорее на подмогу, на тебя вся надежа.

Глава 8

Сережка надел полушубок, запахнулся, застегнул пуговицы, которые мать перешила для него чуть не под мышку, опоясался ремнем. Он сильно вытянулся за время болезни, полушубок отцовский наладили ему и шапку при-

способили — стянули подкладку нитками, чтобы не болталась на голове. Одеваться надо тепло, чтобы опять не простыть, его недавно определили ездовым вместо деда Задорожного, который не умирал и не поправлялся. Мучаясь между жизнью и смертью, дед Задорожный в лучшую минуту заботился о колхозных делах, главным образом, о лошадях, наказывал Сережке, чтобы не обижал животных.

Сережка прошмыгнул в конюшню быстро, чтобы не напустить холода, притворил за собой широкую дверь, постоял, привыкая к полутьме. Конюх Антипыч, хромой допотопный старик, явился, конечно, на конюшню затемно, убрал катыши, дал лошадям сена, надел на морду Гнедому тощую торбу с овсом. Управившись, привалился к вороху сена в углу и придремал. Деревянный пол конюшни подмерз у дверей, но дальше воздух, заряженный ароматом конского навоза и пота, был значительно теплее, чем на дворе, и по своему свеж.

Стараясь не шуметь, Сережка снял с кованого гвоздя, забитого в стену, хомут Гнедого, надел себе на шею, потом и дугу — туда же, в руки — седелко и вожжи, вынес все, положил в кошеву. В Ждановке почты не было, и ему предстояла поездка в Семеновку с письмом, которое дал председатель с вечера, и с посылками на фронт, приготовленными сельчанами к Новому году. Посылки надо было забрать из правления.

Посылок набралось семь — по числу фронтовиков, которые считались неубитыми; две — в небольших фанерных ящичках, видимо, с сухарями и салом, остальные — в тряпичных упаковках. Была здесь небольшая посылка и отцу. Рукавички шерстяные связала мать и носки, зашила вместе с табаком в неизношенный угол старой простыни.

Табак в Ждановке раньше не сеяли, бабы стали выращивать его уже после начала войны. Некоторые и курить нау-

чились, чтобы узнать, из чего более крепкий самосад получается – из листьев или стеблей? Говорили, что курево хорошо голод перебивает. Сережка пока не пробовал, мать не велела.

Писем от отца все не было, и посылку мать подписала на прежний адрес, полагая, что коли жив старший Узлов – должен быть живой, иначе прислали бы им посмертную весть, – то приписан все к той же своей части, а уж там знают, где его сыскать.

Глава 9

Почта в Семеновке размещалась в деревянном домишке, который отличался от других деревенских домов лишь тем, что не стало с некоторых пор вокруг него ограды. Сережка подъехал прямо к крыльцу, захлестнул вожжи вокруг столба; стояк был новый, струганный, и одна ступенька была заменена чьей-то уверенной рукой; занес сперва посылки в ящичках, потом остальные, сложил все на специальный небольшой столик, сколоченный из некрашенных досок, пристроился за женщиной, которая уже отдала сверток за барьерчик и ждала с деньгами в руке, когда ей скажут, сколько надо заплатить за отправку.

Еще две женщины стояли в сторонке, сдали свое и, дожидаясь подругу, негромко переговаривались, переживая важное для себя событие.

В помещении было чуть теплее, чем на улице, топили, видно, мало, да и не каждый день, поэтому и та, что принимала посылки, была в фуфайке, застегнутой на все пуговицы; платок у нее сбился на затылок, и видны были темные волосы с мазками седых прядей на висках. Еще одна женская фигура, но без ватника, в серой длинной кофте, двигалась по ту сторону барьера: уносила посылки в чулан за небольшой дверью.

Сережкина голова была забита разными важными мыслями: надо было отдать председателево письмо, в котором какая-то серьезная бумага в район; он впервые отправлял посылки и не знал, требуется ли от него что-нибудь, кроме платы; соображал, как ему не перепутать сдачу; волновался: не будет ли на этот раз среди писем письма от отца? Он лишь мельком взглянул на ту, вторую женскую фигуру за барьером, и хотя она показалась ему знакомой, он не подумал – кто бы это мог быть?

– Сережа! Мама, это тот самый Сережка! – неожиданный возглас застал его врасплох, и он не сразу понял, что это относится к нему, а не к какому-то другому Сережке. И голос будто знакомый.

Он поднял голову и растерянно посмотрел на женщину в кофте, но она закрыла лицо руками и странно всхлипывала: то ли смеялась, то ли плакала – не разобрать. Внезапно до него дошло, что в старческих одеждах не пожилая женщина ходит, а – Катя. Оттого, что не ожидал ее увидеть здесь, она скользила для него серой, бестелесной тенью и не задержала на себе внимание.

Сережка смутился. Но ему было приятно и радостно, что девушка его узнала; захотелось подойти к ней и спросить что-нибудь. Неважно что – узнать, может быть, ожила ли та старушка, что умирала на печи. Но он не посмел, постеснялся. Он только стащил зачем-то шапку с головы и, переминаясь на месте, ждал, когда она откроет лицо, и тогда он ей скажет: «Здравствуйте». Смутным облаком плавала в сознании мысль: «Почему она сказала: «Мама», если матери у нее не было?»

Не видел Сережка в ту минуту, как поднялась из-за стола и пошла по-за барьером к нему почтальонша. Она вышла к нему, толкнув ногой деревянную дверку, и, обняв, уткнулась лицом ему в щеку. Он не мог ничего сообразить; слабо вырывался, веря и не веря, что давняя

полумертвая старуха и вот эта сильная женщина – один и тот же человек.

Катя подошла и смотрела на мать и Сережку сияющими глазами.

И бабы придвинулись. Они знали историю с селедкой, на деревне ее пересказывали со все новыми подробностями не один раз. Рассказывали, как чудесно излечилась жена Ивана Матвеевича, а еще больше – о том, что пришло на следующий же день, после ухода большеглазого и белоголового мальчишки, письмо от пропавшего сына Ивана Матвеевича, из госпиталя: сын оказался потерянным из-за ранения.

Старухи, верующие в Бога, утверждали, что не обыкновенный парнишка заходил в дом Ивана Матвеевича, а посланный Им, и не в селедке была исцеляющая сила, а в воле Господней, в Слове Заветном, которое тот парнишка знал.

– Ишь ты! – бабы радовались вместе с Катей и ее матерью и, удивляясь, что похожий на ангела мальчишка – не выдумка, только не малец он, а уже вон какой парень, дотрагивались до него в надежде, что им он тоже принесет счастье.

Катюша выскочила вслед за Сережкой на крыльцо:

– Сережа, письма!

Он положил письма в шапку, шапку опять надел, улыбнулся.

– Все молчишь. Даже не поговорили. Уже уезжаешь? Бабушка, знаешь, за тебя каждый вечер молится. Мамка с того дня как пошла, как пошла... Жить, говорит, хочу. А ты здорово вырос.

– Иван Матвеевич на работе? – придумал, что спросить Сережка.

– Нет! Он воевать ушел! Отремонтировал – вот – крыльцо, и ушел.

– Да? А разве...

– Ой, его не звали. Сам. Сказал, что не старый еще, что мальцов берут, а он не хуже. За Сережку, говорит, за Васю...

– Мне не скоро. Я не успею.

– Ага. Мамка плакала: «Нас не жалко?» Да, у нас же радость: Вася нашелся в госпитале, скоро должен приехать...

– Замерзла, – перебил ее Сережка, видя, как она дрожит, – иди, оденься.

– Л-ладно, – сразу согласилась она. – Погоди, я – живо!

Вот какая она стала, прямо песни поет! Да и у Сережки от известия, что Катин брат нашелся, будто обруч лопнул, сжимавший ему грудь.

Сережка отвязал вожжи, Гнедой обрадованно переступил ногами. «Тпру!»

Катя выбежала тотчас, вновь раздевая, только полушалок на плечи набросила. Спустилась на нижнюю ступеньку, совсем близко к Сережке, лицо ее побледнело.

– Я, знаешь, что тебе хотела сказать?

– Что? – спросил Сережка и почувствовал, что краснеет.

Она потупилась, несколько раз чиркнула носком валенка по неистоптанному краю новой ступеньки, взглянула на него, не поднимая головы, словно хотела повиниться перед ним.

– Сережа, – сказала негромко, – ты, когда надумаешь жениться... возьми меня.

Сережка онемел. Она подняла голову, глаза были полны слез.

– Ты не думай... Я буду любить тебя и всегда-всегда буду жалеть.

Сережка продолжал стоять столбом. Вдруг она качнулась к нему, поцеловала прямо в губы, оттолкнулась, вихрем влетела на крыльцо и скрылась за дверью.

От неожиданности и от толчка Сережка сел в кошеву. Гнедой принял это как команду возвращаться домой и рысью взял с места.

Полозья саней бились о выбоины на поворотах дороги, словно стремились выбросить возчика на белоснежную простыню поля, но Сережка стоял крепко, грудь его распирало от восторга быстрой езды и непонятной гордости. А когда они влетели в белоствольный березовый лес и деревья хорОВОДОМ заплясали вокруг саней, Сережка и вовсе захлебнулся радостью и забыл на время о всех бедах и напастях: о войне, о полу-

голодном житье, о письмах в шапке, на которые он не взглянул и не знал пока, кому добрые вести шли, а кому — страшные.

Фронтовые письма были без конвертов, писали их на одной стороне листка, складывали листок треугольником, сверху — адрес; если кому надо проверить, о чем пишет боец домой, пусть разворачивает и смотрит. Горе шло осиротевшим детям, женам и матерям в аккуратных казенных конвертах, заклеенных и со штампом вместо обратного адреса. Одно такое письмо вез и Сережка в Ждановку.

Неожиданно конь притормозил, всхрапнул и рванул вперед с удвоенной резвостью. Сани дернулись. Сережка едва устоял на ногах. Но он не запаниковал и не утратил радостного ощущения жизни, крепче сжал вожжи левой рукой, надел ременную петлю кнутовища на правую, на всякий случай сделал пробный замах и...

Кончик кнута предательски обвился вокруг ветки, рывок — и земля встала на дыбы: Сережку винтом выдернуло из саней...

Когда Сережка очнулся, то не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Боли он не чувствовал, но все в нем онемело и замерло, будто во сне. Даже память не могла пошевелиться, и он не помнил, почему и для чего он лежит здесь. Видел березу над собой и синее небо, и в голове было так же просторно, как вокруг.

Ветерок приметил нарядную березку, подвернул с поля, обошел вокруг, погладил светлые Сережкины волосы, обнаружил письма, потрогал, нашел себе по силам — широкое, в конверте — да и улизнул с ним. Унес письмо, написанное незнакомой рукой, о том, как долго страдал от ран и ожогов сержант Узлов и умер, что похоронен далеко от фронта и вдали от дома. Унес письмо как последний привет пахаря осиротевшему полю.

Март выдался таким же строптивым, как и февраль. В первых числах пригрело, на солнечной стороне дома, на завалинке, снег потемнел и прохутился, с крыш свесились сосульки, возле крылечка после полудня образывалась лужица, которая к вечеру застывала и хрустела под ногой.

Сережка в предпоследний мартовский день закрутил, наконец, последнюю гайку, залил в бак три литра керосина, с трепетным сердцем попытался завести трактор. Бился он с полчаса, пока не понял, что надеждам его не суждено сбыться. Двигатель даже не чихнул по-настоящему ни разу. Сережка вышел из сарая на волю, обессиленно опустился на черный от мазута чурбак, привалился спиной к саманной стенке и замер.

Незадолго до того, как он осознал свое поражение, свидетели его позора разошлись, но все равно на душе было тяжело. На него надеялись...

Отцовский трактор, железный конь на четырех колесах, перешел к Сережке от Мишки Жданова. Мишку вскоре после наступления нового года взяли в военное училище. Сережка должен был довести до ума начатый Мишкой Ждановым ремонт трактора, вспахать весной и засеять поле, на котором вырастет тот самый долгожданный хлеб.

Но трактор — не заводится.

Две бочки керосина Назар Евсеевич припас еще с осени, неизвестно, где добыл поршень с кольцами — с третьего или четвертого захода, в последний раз, говорят, увез из дома добрый кусок сала и с полпуда пшеницы.

День догорал. Солнце укатилось далеко на запад и там опустилось на снег, снег заалел. Земля, перечеркнутая длинными тенями, готовилась к ночи, последней, может быть, перед окончательным наступлением весны.

Сереежа, разогреть было возней с трактором, чувствовал, что скоро начнет мерзнуть, но не шевелился. Околеет – так ему и надо! Плохой из него ремонтник, не сумел запустить трактор. Как теперь смотреть в глаза людям? Конечно, колхозники и без Сереежки справятся с весенней страдой, и если даже последние лошади передохнут – на себе вспашут и засеют поля, без хлеба армию не оставят. Но какой ценой? И так уже, наверное, ни одного здорового человека в деревне не осталось.

«Краник!» Сереежку аж подбросило от догадки. Отец ли придумал и впаял под баком второй, потайной, краник, или на заводе он был поставлен, Сереежа не знал, но вспомнил, что спрашивал отца когда-то, зачем перекрывать голючку в двух местах. И ведь снимал бак для промывки, видел и поворачивал рычажок, как же забыл-то?!

Первый выхлоп, как выстрел, а потом двигатель затарахтел ровно. Пропивая сумерки до самого дальнего края деревни, и дальше вел строку – в поле, в небо, в мирную – сытую и счастливую – жизнь. Не только у Сереежки учащенно забилося сердце, когда трактор завелся, во всех домах напряженно прислушивались: не прервутся ли снова давно позабытые звуки? Сереежа представил, как сестренка Нюрка замерла, затаив дыхание, среди избы, а Мишук изумленно вытаращил глаза; мать, наверное, перекрестилась: «Слава Богу!» Зато Антипыч сразу доверился тракторному рокоуту, хитровато прищурился и, выставив большой палец, подмигнул старухе: знай, мол, наших!

Как он не своротил стенку – не понять, ничего не видел от волнения и радости. Выехал из сараюхи, сделал круг по двору, другой, нарисовал восьмерку...

Обратно въехал аккуратненько. Заглушил мотор. Тишина. Только стучит в

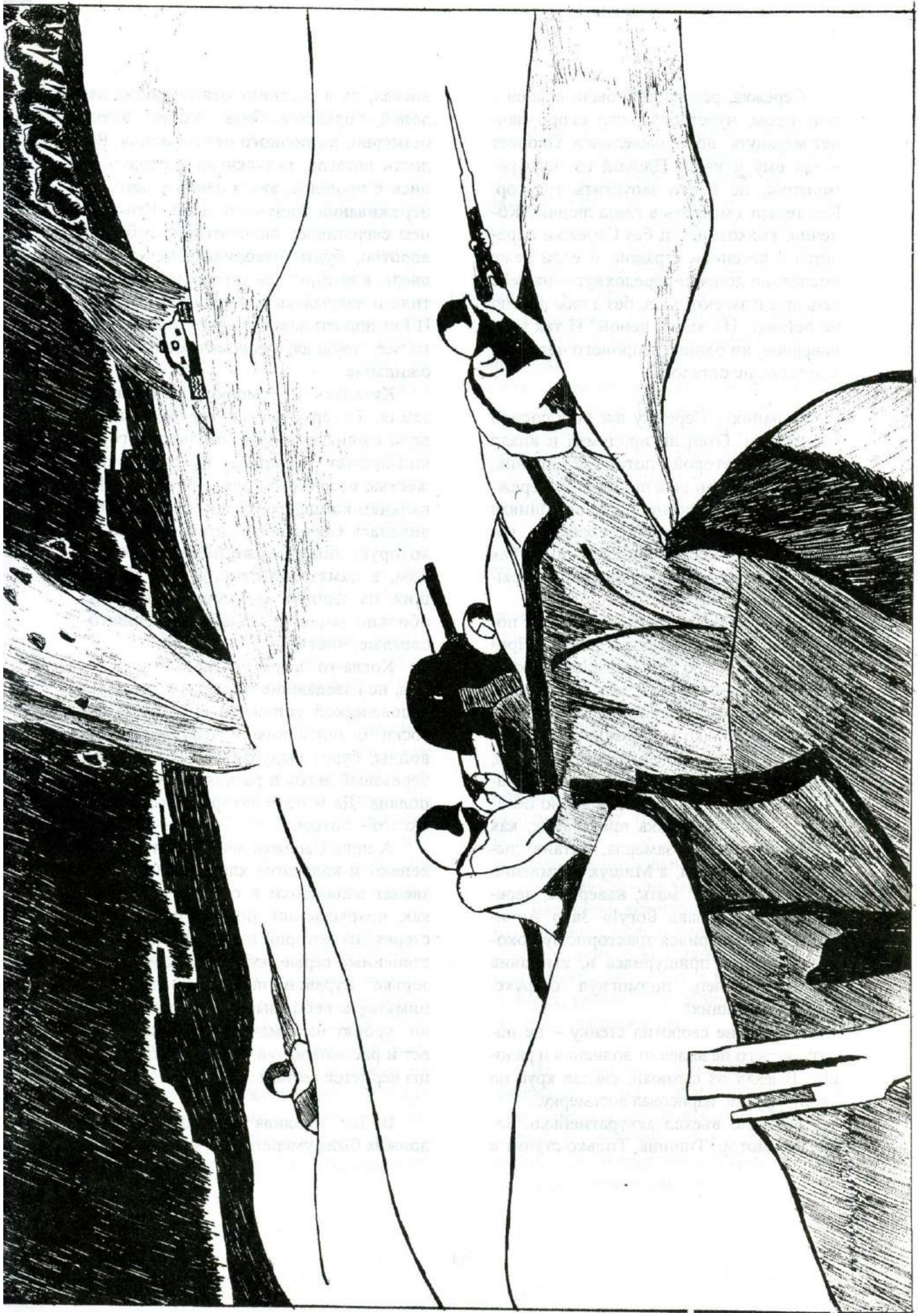
висках, да в ссадинах отяжелевших ладоней торкается боль. Устал. Устал безмерно, до полного опустошения. Радость погасла, потускнели и отодвинулись в прошлое, как в далекое детство, переживания минувших дней. Что-то в нем свершилось окончательно и бесповоротно, будто отворилась перед ним дверь, в которую он стремился, пропустила и закрылась беззвучно за спиной. И нет дороги назад, а впереди опять все то же: трудная, бесконечная работа и ожидание.

Куталась в сумерки опечаленная земля. Ветер отыскал где-то вытаявшую из снега полынь и донес ее горький аромат под крышу вместе со свежестью весеннего поля. Поле, поле. На дальнем конце его, у березового колка, виделась Сереежке заветная поляна, на которую никогда уже не придет отец. Там, в память об отце, о всех погибших на фронте и умерших в тылу, обильно зацветут ковыли, серебристо-светлые, чистые.

Когда-то вырастут новые поколения, не изведавшие голода и холода, нечеловеческой усталости и смертельной тоски о погибших – этих спутников войны, будет вырублен в беспамятстве березовый лесок и распахана ковыльная поляна. Да и поле захиреет, и деревня. Но это – потом.

А пока Сереежа ясно видит, как зеленеют и колосятся хлеба, слышит, как звенят жаворонки в синеве, чувствует, как похрустывает под ногой осенняя стерня, на которой в отдалении пасутся степенные серые журавли; на утренней зорьке журавли покинут поле: поднимутся в небо, выстроятся клином на юг, уронят на землю прощальный привет и растают вдали; в родные края птицы вернутся весной.

Война уходила на запад. Война должна была умереть там, где родилась.



Я СТАРАЛСЯ НИЧЕГО НЕ СОЧИНЯТЬ

Я родился через 13 лет после окончания войны, и поэтому у меня не может быть личных воспоминаний о ней. Не попал по возрасту на нее и мой отец, но воевал мой дед, Михаил Аронович Рейнгольд. Он погиб в начале 1943 г. Воевали почти все родственники, друзья и знакомые моих родителей, подходящие по возрасту. Половина из них погибла.

В моей памяти скопилось довольно много рассказов о довоенном, военном и послевоенном времени разных людей, участников Великой Отечественной войны и ее современников. Многих из рассказчиков давно уже нет в живых. Факты, приведенные в этих рассказах, невозможно проверить. Но, кажется, для ныне живущих они должны быть интересны. В них Дух того времени, Правда того времени, Боль того времени. Не знаю, насколько у меня это получилось (ведь эти рассказы копились в моей памяти много лет), но я старался ничего не добавлять к ним от себя, ничего не сочинять!

ШУТКА

Прибыв на передовую, наша часть получила приказ занять оборону... Когда нам раздавали винтовки, то их оказалось по три на четверых солдат. Мы возмущались, но в ответ услышали шутку: "Не волнуйтесь, к вечеру лишние будут!" Так и случилось.

ФОТОГРАФИЯ

Это было в 1945 году. Мы вошли в один немецкий городок и на несколько дней остановились в нем. Как-то мы с товарищем решили прогуляться. На одном из домов увидели вывеску "Фотография" и зашли в него. Нам пришло в голову, что неплохо бы было сфотографироваться. Разумеется, мы были при оружии — как иначе на войне! Нас встретил старик-хозяин. Он был страшно перепуган, думал, наверное, что мы хотим его убить. Немцы нас очень боялись. И не всегда напрасно: у многих наших солдат семьи были в оккупации и пострадали от немцев, были и такие, у кого жена, дети или родители погибли. Как они могли относиться к немцам? Бывало, что и не выдерживали у них нервы... Хотя перед входом в Германию зачитали нам приказ Сталина на этот счет: за мародерство и разбой полагалось суровое наказание. Бывало, что наши солдаты на этом попадались и получали по полной катушке. Так вот, хозяин-фотограф был страшно перепуган и что-то лепетал по-немецки. Мы его не могли понять, я до сих пор по-немецки знаю только "Хенде хох" и "Гитлер капут". Мы, в свою очередь, пытались ему объяснить, зачем пришли. Когда, наконец, он понял, что мы пришли не убивать, грабить и жечь, а просто хотим сфото-

графироваться, лицо его просияло. Он очень обрадовался, засуетился, почти мгновенно приготовил аппарат, усадил нас, сфотографировал и через несколько минут у нас в руках были фотокарточки... Перед съемкой мы поставили в угол наше оружие, автомат и ручной пулемет, на снимке мы без него. Но смотри: в углу карточки виднеется пулемет...

НЕВЫПОЛНИМЫЙ ПРИКАЗ

За успешные действия наша дивизия получила звание гвардейской. И вот, когда мы готовились к новому наступлению, кому-то в штабе пришла идея, как придать нашим солдатам более воинственный, героический вид: надо, чтобы все отпустили усы! Как в старой русской армии. И был дан такой приказ. Однако, он оказался невыполнимым: большинству наших солдат и офицеров было лет по 17-20, и отпускать им еще было просто нечего.

О ПОЛЬЗЕ ТАБАКА

Почему я курю? Начал лет в 10 и не могу отвыкнуть. Была война, страшный голод. Есть хотелось всегда... Бывало, пойдешь к госпиталю, наберешь окурков и накуришься до тошноты, чтобы жрать не хотелось...

ФЗУ

Когда началась война. Я, 15-летний пацан, был мобилизован в школу ФЗУ при авиационном заводе. О школьной учебе пришлось надолго забыть. Через год учебы мы получили рабочую квалификацию и стали полноправными рабочими. Работать приходилось много, было

очень тяжело. Кроме того, после работы мы проходили военную подготовку. Помню, идем мы ночью куда-то колонной. Я тащу пулемет и боюсь упасть. Думаю: "Придавит он меня, и я уже не поднимусь"... Однако, как рабочие военного завода, получили мы бронь, и когда нам исполнилось 17, то не забрали нас в армию. Карточки у нас были рабочие, так что сильно мы не голодали. Помню, был такой случай: один парнишка потерял свои хлебные карточки. И не придумал ничего лучшего, как убежать на фронт. Сняли его с поезда, осудили как дезертира, приговорили к исправительным работам с вычетом из заработка (завод-то военный!) и... вернули на место. После окончания войны мы получили медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". А в школе мы доучивались уже после войны. В вечерней. Тогда не так, как сейчас. Учиться нас никто не заставлял, сами хотели... Многие потом окончили вузы, стали инженерами...

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

(воспоминания санинструктора)

Когда мы брали Берлин, немцы вовсе не были сломлены! Они стояли насмерть, наверное, как мы под Москвой или в Сталинграде, хотя я там не был... Сколько наших солдат погибло при взятии столицы Германии! Помню, в лесу под Берлином лежали тысячи наших раненых и умирали, так как не было воды...

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы я встретил в Москве. Трудно передать сло-

вами чувства, которые все испытывали. Хотя чувств всего два: радость и горечь. Радость от того, что, наконец-то, свершилось то, о чем так долго мечтали, и горечь от того, что многие уже никогда не вернутся. Я, например, именно 9 мая 1945 года осознал, что никогда больше не увижу отца... На улицах творилось что-то невообразимое: обнимались и целовались совершенно незнакомые люди, пели, танцевали, качали военных... Помню, летчик-майор, Герой Советского Союза, купил целый лоток с мороженым, шел по улице и раздавал его детям...

КАВАЛЕРЫ

Сейчас уже не те молодые люди! Вот во времена моей молодости были настоящие кавалеры, фронтовики. Они предпочитали военный стиль, носили галифе и сапоги, которые были всегда начищены. На их пиджаках блестели ордена! Они не закуривали, не спросив разрешения у дам. Они читали нам прекрасные стихи Константина Симонова, а не ругались матом, как нынешняя молодежь, не распускали руки. Одним словом, настоящие мужчины, а не хамье!

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Сам я не воевал, был тогда еще пацаном. Но воевал мой старший брат. Было ему тогда 20 лет. Лейтенант-танкист... Однажды мы получили письмо из госпиталя, в котором брат общал, что его танк был подбит в бою, а сам он сильно обгорел, но скоро поправится и будет снова отправлен на передовую... В конце письма

он писал: "Лицо мое страшно обгорело, вы меня теперь не узнаете. С таким лицом я жить не хочу и не могу. Буду на фронте искать свою смерть".

Это была его последняя весточка. Скоро пришла похоронка.

РУССКАЯ ДУША

(рассказ фронтовика)

В Берлине стоит памятник советскому солдату. Он держит на руках немецкую девочку, которую вытащил из огня. Такой случай действительно был, солдату тому (фамилия его, кажется, Берест или Берестов) Героя дали. За что? Немецкого ребенка спас... Да таких случаев тысячи! Война - значит, пожары. А из горящей избы как ребенка не вытащить, если находишься рядом? Наши солдаты иначе не могли, притом лез в огонь спасать детей часто тот, кто в бою был не самым смелым. Порой и в ущерб боевым действиям... Детей спасти - это совсем не то, что воевать, убивать... В солдате мирный человек просыпался, свои дети вспоминались... Вообще, во время войны большинство солдат с удовольствием делали мирную работу. Хозяйке, у которой в хате стоишь, крышу починить или просто дров наколоть - на это добровольцы всегда были. А ребенка спасти - святое дело, хоть в России, хоть в Германии. Тут никакого приказа не надо. Чем это я объясняю? Русская душа широкая, хотя не только русские солдаты так поступали...

Только не боевое это дело, и никого не награждали за это.

НЕПОЛУЧЕННЫЙ ОРДЕН

Нашу дивизию наградили орденом Александра Невского. По этому поводу в штабе для всех офицеров было устроено застолье. Меня, как малопьющего, оставили на передовой с приказом до утра обеспечить порядок и ничего не предпринимать. Если что, звонить в штаб дивизии... Уже смеркалось. Неожиданно мне доложили, что немецкая батарея на конной тяге движется через пристрелянную местность. Я посмотрел в бинокль. Так и есть! Если дать залп, то от этой батареи ничего не останется, пристрелянная местность - великое дело. Я уже приказал и гаубицы зарядить, и навести их, как надо. Однако в последний момент решил позвонить в штаб, спросить разрешения. Я был уверен, что получу добро. Ведь это редчайший случай - немцы так подставились! Звоню в штаб, зову командира. Слышу в трубке его уже пьяный голос. Не совсем поняв, в чем дело, он выругал меня по матери и приказал сидеть тихо.

А случай был уникальный: уничтожить врага без всякого риска. Да и орден за это мне бы дали.

ДВА КОНЦЕРТА

Когда началась война и на страну навалилась страшная беда, я перешел в 5-ый класс. Еще до эвакуации мы с сестрой успели побыть в пионерском лагере под Воронежем. Рядом, через лес, чуть ли не каждый

день пешим порядком проходили войска в сторону фронта, техники было немного. Мы каждый день ходили в соседний колхоз на прополку овощей. Недалеко от пионерлагеря располагался полевой госпиталь, и нам было поручено выступить перед ранеными бойцами с концертом (шел август 1941 года). Вести концерт было поручено мне... Когда мы вошли в палату и своими глазами увидели много тяжело раненных красноармейцев, бинты, кровь, почувствовали запах йода и других медикаментов, я немного оторопел и растерялся так, что у меня чуть не пропал голос, но потом я собрался и начал вести программу... Наш нехитрый ребячий концерт красноармейцам, видимо, понравился, и в ответ те, которые могли маломальски передвигаться, сами дали нам, пионерам, свой концерт, также незамысловатый. Этот концерт раненых бойцов можно было назвать "Песни и танцы (их было очень мало) народов СССР". Разумеется, основную часть этого концерта составляли русские и украинские народные песни, советские песни, но были среди исполнителей грузины, армяне, представители Средней Азии... Двое бойцов спели песню на еврейском языке. Что бы сейчас ни говорили о том далеком времени, я глубоко убежден в том, что был в то время настоящий советский патриотизм и советская национальная (или интернациональная) идея. Иначе бы не выстояли...

РИФМЫ ПЕРВОЦВЕТА

Людмила Резенкова,

учащаяся 7 класса школы №2 г. Черемхово

Про зайца

Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шла домой, –
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.

И еще, наверно, долго
Сидел с дрожью в тишине,
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.

Надежда Кузьмина,

учащаяся гимназии №1 г. Ангарск

* * *

В тот день, когда мы уезжали,
Байкал был сер. Как будто сожалел,
Что мы опять уйдем, как прежде, в дали,
А он уже привыкнуть к нам успел.
Я подошла и руки опустила
В Байкал, и он волнами заиграл.
«Пока, пока!» – ему я говорила,
А он меня никак не отпускал.



* * *

Как свежо и кристально прекрасное небо,
Так бывает лишь ранней весной.
Я кидаю кусочки засохшего хлеба
В воробьев суевающийся рой.

По-младенчески чист небосвод бесконечный,
Только солнечный круг – золотой.
Вот какой-то птенец, озорной и беспечный,
Сел на лавочку рядом со мной.

Небо манит меня, и, ему повинуюсь,
Оторвался бы я от земли!
Испугавшись машин, щебеча и волнуясь,
От асфальта летят воробьи.

Им взлететь бы в небесные вольные дали
И оглядывать мир с высоты,
А они, покруживши, смиренно упали
На черемух озябших кусты.

* * *

Весною упоенный
Смешаться я готов
С каплей пустозвонной
И пением котов.

Снег плачет от досады
Под солнечным дождем.
Земли сырой заплаты
Виднеются на нем.

А серая дорога,
Снег замешавши в грязь,
Весны ждала, как бога,
Машинами крестясь.

Юлия Юрченко,
учащаяся 6 класса гимназии №1 г.Иркутск

Я пишу...

Я пишу, потому что мне скучно,
Я пишу, потому что мне страшно,
Я пишу, потому что не знаю:
Будет ли оно – Завтра?
Я не знаю, есть ли – Сейчас,
Я не знаю, будет ли Вечно...
За часом проходит час.
Расскажи мне,

Земной человек,

Есть ли в этом городе
Жизнь,
Есть ли в городе – Счастье,
Свет?
Я не знаю, есть ли в нем
То,
Чего нет в других городах.
Я возьму и другим подарю,
То, что в этом городе есть.

* * *

Вечер дарит нам ночь,
заклучая в объятья,
Звездопад нарядил меня
в синее платье.
Луна улыбнулась
лимонной улыбкой,
По небу плывет
золотистой рыбкой,
А звезды смеются
заливистым смехом,
Тот смех отдается
в душе моей эхом.
Все эти мечты, что
уносятся ветром,
Все это уйдет
с золотистым рассветом.

* * *

Синяя точка на черном фоне,
третья с краю.
Край – это желтое, или чуть около.
В общем, не знаю.

Ну, а на точке находятся пять
не больших и не малых.
А на пяти все делят себя
на левых и правых.

Я – посередке, а где половина –
опять не знаю.
Где у квадрата гипотенуза,
с утра решаю.

Где у тебя, самовлюбленного,
мне местечко?
Мне бы туда, где глушь, тишина,
мне бы за печку.

Синяя точка на черном фоне
третья с краю.
Быть или нет? За двоих вопрос
сегодня решаю.

* * *

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Солнце медное укатилось | Завтра будет пасмурно, вязко, |
| В даль, пугающую безразличьем. | Желтым листиком падет память. |
| Мне уже давно разлюбилось | Я поверила в свою сказку – |
| Все, повсюду и в тебе лично. | Целый год она брела с нами. |

Только год, а думала – вечность.
Завтра растворяюсь с дождями.
Ни к чему теперь твоя верность.
Что-то будет, да будет не с нами.

Борис Коробов,
студент 3 курса филологического факультета ИГУ

На отъезд моей тётки

Солнце для чего-то
Разогрело рельсы,
Из-за поворота
Поезд – ноги босы.

И нагою сталью
Пятки-колеса,
Упиваясь далью,
Взвизгнут в небеса.

Мальчики в зеленых
Куртках и штанах,
В шарфиках-табличках,
С крыльями в петличках,
Смехом в проводах.

Их глаза искрятся –
Мальчики-вагоны
За весною мчатся
В горы, и подъемы
Не страшат их. Нам бы
То же озорство.
Но сажать на пломбы
Мы должны стекло.

От стекла светлее,
Радостнее всем –
Станет мир добрее
И умрет совсем.

* * *

Перун смотрел на все угрюмо:
На речку, холм и на людей.
И, улыбаяся игриво,
Кривил свой деревянный рот.
Владимир лез во христианство,
Не зная брода, и на что ему
Решать вопросы богословов?
Князьям беречь свою страну
Необходимо.

А бабы выли на луну,
Когда ломали шею Перуну,
И расчищали место
Для православной церкви –
Половского насеста,
Где изгонятся черти
Должны елеем, постным тестом.

* * *

Люблю людей,
Когда не требую от них ума,
Но больше я люблю дома.
Из площадей
Люблю с фонтаном в середине,
Как человек, пришедший из пустыни.

Из Бродских
Я люблю поэтов,
Умерших и не пишущих
Друзьям ответов.

Вообще же лучше с мертвыми общаться –
К ним можно без фамилий обращаться,
Трепать за бороды, выдергивать усы,
Молчанья требовать, полнейшей тишины, –
Во всем послушны мне они!

Как я люблю людей!

Наталья Майдукова,
студентка ИГУ

* * *

Я все же нажимаю эту кнопку,
Внутри вдруг раздается «динь-дилинь».
Все происходит – даже неба синь
Спускается на лестничную клетку.
В уютном полукафельном мирке
Я проиграла многим свою душу
И не отдам (я непременно струшу).
А трещинок узор на потолке
Мне кажется единственно уместным
Житейским планом, картой бытия.
Вот линия по краешку... (моя?)
Холодный пол и трещин редколесье
И что-нибудь еще. В окне луна,
Ночь, улица, аптечная стена,
Фонарный столб и ничего на свете,
Что может измениться. Просто ветер
Подул сильнее. И я сошла с ума.

* * *

Ветер не станет мириться со мной и прощать меня.
Он хлестанет по лицу, точно так же, как ты, —
Тот, кто когда-то смог это. Знай же — я счастлива...
(Дальше не будем). Я вижу, как из пустоты
Смотрит ребенок, каким никогда не была я,
Девочка лет десяти, и, пожалуй, она
Вовсе не станет Еленой, женой Менелая,
Спарту покинет и Троию разрушит сама.
Тот, кто когда-либо смог прикоснуться рукою,
Утяжеленной размахом, к моей неантичной щеке,
Знает, что это не больно. И правда — не больно.
Смотрит ребенок обиженный. А на песке
Строятся замки, гробницы и новые замки.
Знаю — прекрасным прощается все. А вот мне
Ждать наказания за каждое слово. Сквозь ранку,
Мне нанесенную, проистекает вонне
Боль, заливая огнем все лицо. (Его мрамор
Не удостоит — ведь Троя пребудет в пыли.)
День мог ворваться вот-вот сквозь оконные рамы...
Боль — фотовспышкой... Прекрасным простится... Вдали
Вижу ребенка, чьи волосы убраны диким
Переплетением трав. Ей известно, за что
Замки вминает в песок сапогом победитель.
Все проходяще. Он прав. Даже время прошло.

* * *

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Яркие сны — все это бредни, но | И мне недоступен, хоть стала взрослая, |
| Живая душа здесь лишь на треть. | Хрупкий твой трепет в чужой руке. |
| Пестрая бабочка, лети медленно, | Лети, бабочка, крыло пестрое, — |
| Дай, бабочка, тебя рассмотреть. | Сердце в радости, душа налегке, |
| Признаться по чести, и мне хочется | Если есть она. Здесь хоть тресни, но |
| Порхать над клумбой — и все дела; | Не схватишь главного на лету. |
| Узор тропический — и все творчество; | Танцуй, бабочка, свою песню; |
| Легки и прозрачны под ним крыла. | К закату день, булавка — к листу. |
| К чему ангелы, к чему ведьмы нам — | Сожми крыльями щепоть времени, |
| Цвет их тускл в наших краях. | Меси лапками глубь цветка. |
| Пестрая бабочка, лети медленней, | Стезя, зовущая нас по имени, |
| Им недоступна дерзость твоя. | Невыносима, но столь легка... |

* * *

Угадаешь свою принадлежность к какому-то лучшему миру
И покинешь меня ради сполоха дальней зари,
И поманит дорога по дну, обнажаясь с отливом,
И пойдешь, запинаясь о водоросли и корабли,
Обещая вернуться... Не мне, а себе обещая вернуться,
Заставляя поверить навек и в дальнейшем забыть навсегда
Лунный свет в час отлива и, если удастся проснуться,
Ту дорогу куда-то... туда, где твои города.

Жара в среду

Усталость от жизни дает разрешение на подвиг.
Ты мечешься в поиске... Я не могу угадать
Чего? Понимая оживший термометра столбик
Как некую данность (весна) и как повод задать
Свои нерешенные за зиму (может, и за год)
Вопросы. А мне надоело стараться забыть
Свои нерешенные. Все. От означенных тягот
Нам впору повеситься. Подвиг. Я знаю, как жить.
Я знаю, как надо дышать, и как катится камень
Сизифов; я знаю, наверно, что значит любить,
Я знаю, как портятся нервы тоской и стихами.
Я знаю, как жить... Черта с два, если знаю, как жить!
Усталость от травли себя нерешимую целью
Дает позволение расслабиться. Только к утру
Становится ясно, что кто-то уже перед дверью...
Когда я расслаблюсь... наверно, я сразу умру.
О чем эта повесть? О чем законные крики?
О чем это солнце (зачем эти плюс тридцать два)?
Зачем у беременных столь освещенные лики?
Зачем их так много? Неведомо. Только слова
Как прежде ничем осознанию помочь не умеют.
(Дурная привычка – примешивать здесь философскую
чепуху.) А наш мир, между тем, зеленеет.
А мир, между тем, поднимает скрипучий засов
В иные миры. Мне пора отправляться, должно быть,
От точки неведомой или известной не мне.
Пора отправляться куда-нибудь, как-нибудь, чтобы
Идти по тропинке при полной хрустальной луне.

МИНИАТЮРЫ ПЕРВОЦВЕТА

Галина Бельская

О НАБОКОВЕ

Должно быть, Чародей носил в себе болезнь, сам не сознавая того. Она, незаметно для стареющего тела, поторапливала его, заставляя привести незавершенное в относительный порядок. Говорят, каждая строчка его была прибрана, как в пору его честолубивой молодости. Известно также, что он был атеистом и не растрчивался на обращение к божественному началу. Тем очевиднее его невероятно напряженное воздействие почти через полземли. Воздействие с целью хоть как-то передать свое, доведенное до совершенства, умение разглядеть в предмете основу, неподвластную обычному, поверхностному, земному зрению. Осмелюсь предположить, что Чародей тосковал об ученике. На той земле, по которой он ходил, ученика у него не было и быть не могло. Чародей укрылся за иным алфавитом, иным слогом, иной энергетикой предложения. Здесь он работал как мастеровой, как гончар, перемешивая старую глину, и, нажимая на педаль хорошо налаженного гончарного станка, создавал в нежных руках сосуд, са-

ма форма которого обещала иное содержание. Годы и годы были потрачены на преодоление чужого материала, и чародейство его вновь засияло. Он мог бы спокойно чувствовать себя Гражданином мира, потому что мир оказался подвластным ему, читал и перечитывал его. Весь мир, кроме его Родины... Он понимал искусственность этого состояния, далеко не заглядывал и требовательными руками перебирал пространство вокруг себя, как бы отыскивая хоть слабый отзвук или созвучие. И вот энергетика или, попросту, настойчивое желание Чародея напасть на желаемую ноту, совпасть, чтобы его волна не угасала вовсе, а продолжала свое движение, настойчиво стала пробиваться через встречные силовые линии, используя попутные облака, дождь, а чаще всего попутный ветер, тихий пошвист которого умолял взглянуть вокруг другими глазами, умолял подставить под него свое ухо и в потоке естественных, простых, скрипучих звуков различить тончайшую мелодию ушедшего дня, тоскливую ноту угасшей любви.

УМЕНИЕ ХОДИТЬ ПО ЛЕСУ

Ух, он лес, какой дремучий! Цепляется за одежду, ставит подножки – тайга, бурелом. На голову с закрытого ветвями неба шишки падают; кругами мошкара, комарье – безжалостная насекомая порода.

Идут по лесу Саша Б. и Саша Н. – без тропинок, без знания юга и севера, обидевшихся друг на друга.

Саша Б. вот что предлагает: «Давай, – говорит, – заламывать ветки и делать зарубки, а то закрутимся в чертячьем колесе».

Саша Н. подумала над этим и, конечно, согласилась. Стали они зарубки делать, а топора-то при себе нет. Остановились: как же мы зарубки без топора делаем? Это ведь невозможно. И перестали.

Стало быть, заблудились. Присели – давай вспоминать, зачем в лес пошли. Саша Н. говорит: «За грибами». А где кузовок? Может, за ягодами? Тоже никаких признаков подобного намеренья. Тут Саша Б. отрезал: «Все это ерунда, теперь главное – наружу выйти».

Задумали поджечь лес – пусть пожарные по дыму догадаются и их спасут. Но нет: зверушек жалко.

Стали гоняться за зайцами. Мол, привяжем к лапе послание и пуганем его, как следует. Заяц от страха не заметит, как из лесу выскочит. Там его схватят и прочтут жизненно важную записку.

Ничего не получилось. А уже вечер. Саша обнялись и смешали слезы. Поели земляники, задумались о ночлеге. Вдруг выходят на поляну –

тут костерок, старичок за ним сидит в русской ушанке, пытается консервную банку последним зубом прокусить.

– Давайте я, дедушка, – попросился Саша Б. – У меня зубы крепкие, утром с порошком их чистил.

Старичок достал папиросы «Беломор», спички, на которых нарисован Спид, разрывающий сердце, и консервный нож.

– Натё, – говорит, – ребятки, открывайте, я пока покурю.

– А вы лесник, дедушка? – интересуется Саша Н. Присела, греет ручонки над костерком.

Старичок задумался. Потом отвечает:

– Ну, должно быть, лесник... Ешьте, ребятки, консерву – она у меня ужас до чего вкусная!

Ребята наелись консервов. Лесник же в это время курил и что-то пил из бутылки, наверное, целебную воду.

Вдруг Саша Н. говорит:

– Ой, у меня живот подвело.

– И у меня, – добавил Саша Б.

– А вы поспите, и все пройдет, – объяснил старичок.

Какое уж «поспите»! – бежать надо, под куст. А как бежать, когда и взаправду спать хочется? В общем, уснули.

Просыпаются – что за чудеса? Нету ни костерка, ни дедушки, во круг утро, одни дома пятиэтажные и машины, настраиваясь на работу, гудят. Саша Б. встал и пошел к себе домой. А Саша Н. – к себе. Вот и вся история.

УМЕНИЕ ЛЮБИТЬ ЖЕНЩИНУ

Саша Б. влюбился в Сашу Н. и поет: «Отняла подруга детства сердце у меня!»

Купил букет, решил пойти к ней и во всем признаться. А Саша Н. в этот момент как раз замуж выходила. Полна горница гостей. «Горько!» – кричат. Горько им, видите ли.

Саша Б. поднимается по лестнице и размышляет: «У кого-то праздник, кто-то радуется жизни и весне, посредством губ происходит соприкосновение юных душ. Неужто и мне счастье суждено?»

Остановился на пороге – чувствует, что порог сам собою уходит из-под подошв: перед ним его любимую целует ее законный муж. Саша Б. подошел, вручил букет и говорит: «Поздравляю». А на душе кошки скребут. Да что, кошки! – утопиться охота, до того тоскливо и отвратительно на душе.

Пошел Саша Б. к реке и действительно утопился. Но любовь все не проходит. Стал он в виде призрака сидеть в супружеской спальне. Сидит, проливает невидимые миру слезы, а утром Саша Н. думает, что это снова кошка напакостила.

Мало того. Городские службы зафиксировали «подъем уровня воды» (представляете?!) в местной реке, которая прежде разве что мелела. Нашелся, кстати, один умелец – вы-

манил Сашу Б. со дна и упросил его в баночку поплакать – мол, одна вещь старушка обещала: в этих слезах замечательные лекарственные свойства. Таким образом умелец вылечил свою дочь-инвалида: смазал ей ножки слезами, и она стала резво бегать. Причем никогда не забывала в день рождения Саши Б. прибежать на речку, чтобы пустить по воде венки, сплетенный в его честь.

Саша Н. хорошо жила со своим мужем. У них были дети: Света, Коля и Костя. Костя, правда, сбился с дороги, зато Света и Коля окончили вузы и успешно работали по специальности. Но чем дальше, тем грустнее становился взгляд Саши Н., направленный в зеркало. «Старею я», – говорила она старческим голосом и садилась вязать носки. Однажды муж в этих носках поехал на рыбалку. Кто-то ухватился за его удочку и затянул упрямого рыбака на дно. Муж Саши Н. не утонул, так как имел высший разряд по плаванию, но смертельно простудился в холодной осенней воде.

Призрак Саши Б. не считал себя виноватым. «Потому что любовь, – объяснял он рыбам, – особенно любовь к женщине, не выбирает дороги. Я все готов отдать за улыбку любимой и мягкое пожатие руки».

Валентина Мартыненко,
учительница русского языка с. Коновалово Балаганского района

ТРЕЗОРКА

Рассказ

Весь день Алешка с бабушкой возили и носили вещи со старой квартиры на новую. Алешке не жаль было оставлять свое старое жилище. Слишком много грустных воспоминаний было связано с ним: смерть матери, отъезд старших сестер, болезнь бабушки и холод, адский холод. Этот холод, даже теперь, в апреле, когда все дышало и звенело весной, напоминал о себе при взгляде на это мрачное здание. Барак – так его называли жильцы – большой и темный, сиротливо стоял, скрипя своими бесчисленными дверями, сорванными кое-где ставнями, болтами. Алешка с бабушкой последними из жильцов оставляли его. Всюду валялись ненужные старые вещи, мебель, верно послужившая хозяевам и теперь брошенная за ненадобностью. Бабушка иногда подбирала какую-нибудь кастрюлю или тряпку, долго рассматривала ее, а потом, убедившись в негодности, отбрасывала по-дальше.

Пес Трезорка с радостным визгом носился по пустому двору, путался под ногами, сопровождая тележки со скарбом до новой квартиры и обратно. Он забегал вперед, приседал на передние лапы, смешно наклонив голову к самой земле, и ждал, когда Алешка с бабушкой подкатят тележку, потом вскакивал и снова кругами мчался вокруг них. Впервые за долгую зиму его спустили с цепи. И теперь он радовался свободе, теп-

лу и вообще всему, что происходило вокруг него.

Только сердце Алешки, когда он смотрел на Трезорку, все сильнее и сильнее наполнялось тревогой. И тревогу эту не могла заглушить ни радость переезда на новую квартиру, ни предвкушение горячей ванны, которую бабушка пообещала вечером, ни взгляды белокурой девочки из соседней квартиры, украдкой посматривавшей на него из окна.

– Баб, а баб! А куда мы Трезорку денем? – в сотый, наверное, раз спрашивал он.

– Отстань, не до этого сейчас, – сердилась бабушка и переводила разговор на другую тему.

– Давай, возьмем его с собой!

– Ну, куда, куда мы его возьмем? – запричитала бабушка. – Не потащим же его на третий этаж! Да и не одни мы там жить будем. Пойми, на подселении мы.

Алешка знал, что им дали только одну комнату в двухкомнатной квартире. Другую комнату занимала высокая, худая старуха, которая седыми буклями и высоким воротником на блузе напоминала Алешке гувернантку дореволюционной поры.

Старуха-соседка сразу не понравилась Алешке. «Наталья Дормидонтовна», – чопорно представилась она бабушке и поджала свои и без того узкие губы. Потом Алешка слышал, как она говорила, сидя на кухне с бабушкой:

— Я думаю, ваш мальчик будет хорошо себя вести. Я совершенно не выношу шума. И вообще у меня, как у человека, столько лет отдавшего культуре, я думаю, должна быть отдельная квартира.

— Да, да, конечно, — согласилась бабушка.

Отдельная квартира по праву должна быть и у Алешки с бабушкой, потому что Алешка — сирота, а отец с матерью всю жизнь проработали на заводе, да и сестры есть, хотя и взрослые, но на них тоже должны были дать квадратные метры, как объяснила им бывшая соседка по барaku. Ничего этого бабушка не сказала. А Алешка, глядя на новую соседку, понял, что потерял последнюю надежду, думая, что все-таки сможет взять Трезора в квартиру: старуха ни за что не позволит.

Комната, которая досталась Алешке с бабушкой, была просторная, светлая, с одним большим окном, выходившим на двор, и, главное, теплая. Под окном располагалась батарея, похожая на гармошку, от нее исходило живительное тепло. И Алешка больше всего боялся, что она перестанет вдруг греть и снова наступит холод. Он несколько раз подходил, трогал батарею, греет ли.

Когда Алешка с бабушкой разобрали и разложили по местам свои немудреные пожитки, наступил, наконец-то, обещанный бабушкой долгожданный момент — Алешку ждала горячая ванна. Правда, ванна была небольшая. Но маленькое и худенькое тело Алешки входило в нее полностью, и он вдоволь набултыхался в ней. А потом счастливый и умиротворенный заснул на новом месте крепким сном.

Среди ночи Алешка неожиданно проснулся. За окном был слышен лай. В ночной тишине, отдаваясь между кирпичными стенками многоэтажек, лай звучал так звонко и оглушительно, что казалось — от него дребезжат оконные стекла. Алешка соскочил с постели:

— Бабушка, это Трезорка!

— Да Бог с ним, спи, милоч, спи!

Слышно было, как открылось чье-то окно, раздалась ругань. Пес замолчал ненадолго. Потом опять послышалось легкое поскуливание, повизгивание, перешедшее затем в подвывание. И вот вой, громкий, тягучий, раздался в тишине ночи. Снова открылось чье-то окно, и тот же голос забранился. Но пес, смолкнув на минуту, вновь тяжело, с надрывом завыл. Алешка не выдержал, подбежал к окну, распахнул створки. На него пахнуло сыростью весенней ночи. Внизу, у освещенного подъезда, сидел Трезор и, задрав морду к небу, протяжно выл, будто жалуясь на что-то равнодушным холодным звездам. И такая жуткая тоска слушалась в этом вое, что Алешка не выдержал и закричал: «Трезорка! Трезорка! Я здесь!» Пес тотчас перестал выть и залился радостным лаем. Потом подскочил к подъезду и стал царапаться в дверь.

Алешка быстренько оделся.

— Ты куда? — встрепенулась на своей кровати бабушка.

— Баб, я сейчас! Я Трезорку только успокою!

— Ой, лихоманка тебя задерит! Да повоет и перестанет.

— Баб, я ненадолго. Я сейчас приду, — эти слова Алешка говорил уже в дверях. Быстро скатившись по лестнице, Алешка открыл дверь

подъезда. Трезор с радостным визгом бросился к нему на грудь и, как ни увертывался Алешка, умудрился несколько раз лизнуть его в лицо.

– Ну, чего ты? Ну, чего? Здесь я, здесь! Тише, а то всех перебудуешь, – говорил Алешка, глядя пса по спине. Пес притих, будто понимая его. Алешка присел на ступеньки, обхватил Трезорку за шею и гладил, гладил его. Так они сидели, пока Алешка не продрог. – Ну, иди, Трезорка, на улицу. Утром я к тебе спущусь.

Пес послушно выскочил в открытую дверь подъезда.

Весь следующий день Алешка провел с Трезоркой. Где они только ни побывали! В приливе радостных чувств Трезор то и дело прыгал на мальчика, оставляя на куртке отпечатки грязных лап, за что Алешке изрядно попало от бабушки, когда он вернулся вечером домой.

Вдоволь наплескавшись в ванне, Алешка уснул. Но ночью повторилась та же история. Среди ночи Трезор, поняв, что его снова оставили одного, громко, обеспокоенно залаял, а потом лай перешел в вой. Опять открывались окна, слышалась ругань. Вой на минуту-другую прекращался и с новой силой разносился над домами.

Утром, когда Алешка понес Трезору миску с едой, бабушка сказала:

– Ты бы не приваживал его. Может, так быстрее отстанет.

– Но он же умрет с голоду.

– Не умрет, найдет где-нибудь пропитание. Мало ли бездомных собак бегают. А может, кто подберет его.

Алешка все-таки, несмотря на увещания бабушки, каждое утро выносил Трезору поесть и исчезал с ним из дому до самого вечера.

А ночью все повторялось сначала. Тонкий, протяжный, сверлящий душу вой несся над этажами, поднимая с теплых постелей полусонных жильцов, злобно выплескивавших ругательства в тишину ночи.

Алешка понимал, что долго это продолжаться не может. Однажды, спускаясь во двор, он услышал разговор поднимавшихся навстречу ему мужчин. Один из них спросил:

– Ты куда это с ружьем с утра пораньше?

– Да хотел пса подстрелить. Надоел, тварюга! Каждую ночь под окном воет, спать не дает! Вот, специально ружье у тестя взял.

По голосу Алешка узнал соседа, жившего этажом ниже.

– Ну, и что?

– Да исчез пес куда-то. Только что тут вертелся, выхожу, а его и след простыл. Ну, я его-таки подкараулю.

У Алешки екнуло сердце. Все! Это конец. Сосед обязательно выполнит задуманное. Уже не один раз он останавливал Алешку с бабушкой со словами: «Приберите свою псину, а то прикончу». Алешка не помня себя выскочил во двор, огляделся, Трезорки нигде не было видно. Немного успокоился – может пронесет на этот раз. Но в это время из-за угла выскочил пес и со всего маху бросился к нему на грудь. Испуганно оглянувшись на подъезд, Алешка резко оттолкнул его от себя: «Пошел, пошел отсюда!» Пес недоуменно посмотрел на него, завилял хвостом: «Пошел, пошел отсюда, а то тебя убьют! Понял?» – Алешка замахнулся на него. Трезор отскочил в сторону, присел на задние лапы, наклонил голову на бок, думая, что мальчик

играет с ним. Хлопнула дверь подъезда, Алешка испуганно подскочил к собаке, схватил за шею и потащил подальше от дома, но пес сопротивлялся, упираясь всеми четырьмя лапами. Слезы градом брызнули из глаз Алешки, он размахнулся и изо всех сил пнул Трезора. Тот жалобно взвизгнул и отскочил. Алешка еще и еще раз пнул пса, приговаривая: «Пошел, пошел отсюда!» Пес отбежал на несколько шагов и снова сел, слегка поскуливая, глядя недоумевающими глазами, готовый в любую секунду броситься на зов хозяина. Тогда Алешка схватил подвернувшийся камень и запустил в Трезора, но тот увернулся от него и опять сел. Размазывая по щекам слезы, Алешка бросал и бросал в собаку камни, комья земли, палки, пока тот не побежал от него. Он бежал, поджав хвост, взвизгивая всякий раз, когда палка или камень попадали в него. И такая была обреченность в съежившейся фигурке собаки, что Алешка еще горче заплакал и поплелся домой.

Вечером он долго не мог уснуть, чудился то лай, то легкое поскуливание. Он вскакивал, бежал к окну, но во дворе никого не было. Измученный тревожным ожиданием, он, на-

конец, уснул. Уже под утро его разбудил громкий хлопок входной двери, гулом отдавшийся по всему подъезду. В одно мгновение Алешка оказался на подоконнике. В полоске света, падающей из освещенного окна, он увидел сидевшего посреди двора Трезора. От подъезда бесшумно отделилась фигура в темном плаще и двинулась к собаке. Неспешно, как в замедленном кино, поднялся ствол ружья.

— Дяденька, не стреляйте, пожалуйста! Трезор, беги! — отчаянно закричал Алешка.

Последние его слова слились со звуком выстрела. Трезор как-то странно подпрыгнул, осел на задние лапы и повалился на бок, загребая лапами холодную землю.

Алешка метался в постели: то куда-то порываясь бежать, то что-то бормоча бессвязно. Бабушка с трудом успокоила его.

А утром они с бабушкой погрузили тело Трезорки в тележку и вывезли на окраину поселка. Там, среди молодого сосняка, выкопали яму и похоронили Трезора. Алешка хотел поставить крест над могилой собаки, но бабушка не позволила — это не человек.

*
*

СКАЗОЧНЫЙ МИР ПЕРВОЦВЕТА

Валентина Шабалина,
г. Усолье-Сибирское

ВАСЬКИНА МАМА

Мама у Васьки была доброй и очень любила его. И Васька ее тоже любил. Она часто гладила его по головке и приговаривала:

— Ах ты, мой хороший, Васенька.

И Ваське это нравилось, он замирал от удовольствия, закрывал глаза и, устроившись поудобнее у нее на коленях, засыпал. Во сне он видел, как над ним кружились теплые слова, сотканые из маминого голоса, они касались его, и от их прикосновения становилось так хорошо и приятно, что Васька начинал во сне петь.

Мама была уже довольно пожилой женщиной, нет, не старой, у Васьки язык не повернулся бы ее так назвать, а именно пожилой. И он это понимал так: что жила она на свете давно, даже тогда, когда его, Васьки, еще не было. Про таких пожилых говорят на улице: «Пожила и хватит, уступи место другим». Но Васька не хотел, чтобы мама кому-то уступила свое место. Это была его мама, и никто другой никогда не смог бы ее заменить.

Когда-то, очень давно, она спасла ему жизнь. Тогда была зима и было холодно. Васька лежал у бетонной стены, брошенный и никому не нужный. Он не мог понять, почему оказался в этом холодном и злом мире. Помнил только, что сначала было

тепло и уютно, и он лакал молоко, а потом что-то случилось, его вынесли и оставили на улице. Он долго бродил, все искал, где же было так тепло, но не мог найти. Очень хотелось есть, а вокруг был только снег, снег и снег. Васька от отчаяния попробовал его лизнуть, но снег оказался таким холодным, что его всего передернуло от холода. И тогда он закричал, громко, во всю силу своих маленьких легких. Он просил помощи, но никто ему не помог. От голода его мутило, лапы замерзли так, что он с трудом мог определить, какая из них задняя, а какая передняя. Он лежал возле серой грязной стены и плакал. Вот тогда-то и появилась мама.

Она шла из магазина в своем стареньком черном пальто и в теплом платке. Она даже не шла, а как-то осторожно, шаркая ногами по утоптанному снегу, продвигалась вперед неровной старческой походкой. Мама подошла к Ваське и, подслеповато щурясь, склонилась над ним. Васька приоткрыл глаза и посмотрел на нее, каким-то внутренним чутьем он понял, что она не делает ему ничего плохого, и опять закрыл глаза. Под его брюхо поползло что-то теплое, и он вздрогнул от неожиданности. Это мама, сняв рукавичку, осторожно подсунула руку ему под брюшко и подняла его с

земли. Тогда Васька спокойно умещался на ее ладони, только ноги свисали плетешками с руки. Он собрал все силы, чтобы подтянуть их, но не смог.

Потом он долго болел, а мама его выхаживала. И все-таки выходила. Наверное, в этой жизни они нужны были друг другу, поэтому он остался жив. В память о том времени осталась у Васьки больная нога, он ее чуть приволакивал, но сам на такую мелочь внимания не обращал. Главное, что у него теперь была мама.

У мамы были белые волосы, собранные в пучок на затылке, а глаза прикрывали круглые очки. Ах, что это были за очки! Когда Васька забирался к маме на колени, он всегда смотрелся в стеклышки очков и видел в них добрые мамины глаза, а рядом с ними – себя. Причем, сидел он и рядом с левым глазом, и рядом с правым.

Мама его никогда не ругала и всегда кормила. А Васька от еды не отказывался и не отворачивал нос, если ему что-то не нравилось, потому что мама нигде не работала и получала пенсию. Ваську же на работу никто не приглашал, и пенсию почтальон ему не приносил, хотя он и терся постоянно об его ноги. И это было обидно.

Васька подошел к двери, сел и начал мяукать:

– Мама, открой дверь. Пойду погуляю.

– Опять на помойку собрался?

– Ма-ам, ну открой, – канючил Васька.

– Сиди дома. Сегодня Катя с Димой придут.

Васька опечалился. Катя с Димой были мамиными внуками, и она их

любила, а значит, и для него они были ближе, чем другие люди, но все же ему не нравилось, когда они приезжали.

Вот сейчас приедут, и в доме будет шум и гам. Потом они схватят его, Ваську, и будут сначала целовать, а потом тянуть каждый к себе за лапы. А это больно. Еще больнее, когда тянут за хвост. Васька будет терпеть ради мамы, а потом вырвется и заберется за шкаф. Спрячется там среди старых чемоданов и коробок и будет зализывать больные места.

А мама позовет внуков пить чай, и они станут хрустеть печеньем и вылавливать из варенья ягоды побольше. А Васька будет таращить глаза и вытягивать шею из-за коробки, чтобы разглядеть, что еще им даст мама.

Ваське всегда казалось, что внуки своим приездом доставляли его маме только хлопоты и беспокойство. И ему становилось жаль ее и еще почему-то себя. Когда дети уезжали, мама долго безучастно сидела на стуле и о чем-то думала. Потом гладила Ваську по спине и печально приговаривала:

– Ну вот, мы опять одни, Василий.

А Васька ее не понимал. Разве им еще кто-то нужен? Им и вдвоем хорошо.

Наконец, хлопнула входная дверь, отделяя Ваську от Кати с Димой, и в доме наступила долгожданная тишина. Васька спрыгнул со шкафа и поплелся на кухню.

– Ма-а-ам, хорошо-то как, ти-и-хо.

Измученный, он упал посреди кухни и заснул. Сквозь сон он слы-

шал, как мама, шаркая тапочками, моет посуду и убирает комнату.

— Если бы вода не была такой мокрой, я бы ей посуду помыл, — подумал Васька во сне.

Проснулся он ночью от ощущения страха и боли. Он вскочил на ноги и стал прислушиваться к себе. Вроде все нормально, но откуда эта боль? Мама! Боль шла от нее, и он боялся этой боли.

— Ма-а-ма, — позвал Васька, прислушиваясь к темноте.

Потом мягко и осторожно, как это умеют делать коты, побежал в комнату. Мама лежала на диване в одежде. Васька подошел поближе и припнулся. Он нее пахло знакомыми запахами. И еще эта боль! Он прыгнул на край дивана и долгим немигающим взглядом посмотрел на маму. Потом наклонился и лизнул ей руку шершавым языком, но рука не шевельнулась, как обычно, и не по-

гладила его. Васька, осторожно ступая, перешагнул через руку и, взобравшись на подушку, заглянул маме в лицо.

— Ма-ам, — тихонько, словно боясь ее разбудить, мяукнул он.

Затем, будто на что-то решившись, улегся у ее головы. Он чувствовал каждой клеточкой своего тела, как его переполняет ее боль и страдание. Хотелось спрыгнуть и убежать, но он продолжал лежать. Так же, как тогда, в детстве, у бетонной стены, Васька вдруг заплакал от горя и одиночества.

За окном занимался мутный рассвет. Васька настолько устал за эту ночь, что не было сил даже пошевелиться. Веки у мамы дрогнули, и Васька увидел, что она открыла глаза.

— Испугался, Василий? — тихим, слабым голосом спросила мама. — Ничего... это давление. Уже все хорошо... Мы еще поживем...

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ПРО КОРОВУ МАНЮ, ЖЕРЕБЕНКА ГОШУ И ЛЕЛЮ – БЕЛУЮ КОШЕЧКУ

КОРОВА МАНЯ И ЕЕ МЕЧТА

Был первый летний день. Гоша и Леля шли по лесной тропинке и разговаривали.

– А не сходить ли нам в гости к корове Мане? – предложил Гоша.

– Пойдем, – согласилась Леля. – Тем более, что мы так давно у нее не были.

И друзья весело побежали по тропинке к Белому лугу, на котором росли ромашки и жила корова Маня.

Маня с утра гуляла на лугу. Это была очень мечтательная корова. Она любила все красивое и, как говорили ее знакомые коровы, кое-что понимала в искусстве. Она не раз встречала на лугу художников, которые рисовали летний или осенний пейзажи, и часами задумчиво смотрела на их полотна, пережевывая траву.

Вот уже целую неделю у коровы Мани была мечта, и она о ней думала. Ей хотелось быть не просто Коровой Маней, а Божьей Коровкой Маней. Она мечтала летать над лугом, порхать с цветка на цветок или просто сидеть где-нибудь на листике дерева. Ах, как это было бы здорово и как красиво! Но как стать божьей коровкой – Маня не знала.

Друзья нашли ее на дальнем конце луга, где она стояла и тяжело вздыхала.

– Здравствуй, Маня, – поздоровались жеребенок и кошечка.

– Здравствуйте, – печально ответила корова.

– Что с тобой? Ты нездорова?

– Здорова, – сказала Маня и вздохнула.

– Тебя кто-нибудь обидел?

– Нет, никто меня не обидел, – сказала корова и опять вздохнула. – Просто у меня есть мечта, а как ее осуществить – я не знаю.

И она рассказала своим друзьям о своей мечте.

– Да-а, – сказал Гоша, – это действительно очень красиво, но как стать... этой самой... божьей коровкой? Над этим надо подумать.

Друзья сели на траву и задумались.

– Кажется, я придумала! – воскликнула Леля.

– Как? – спросил Гоша.

– Му-у... не томи-и, – простонала Маня.

– Все очень просто! Нужно покрасить ее анилиновыми красителями!

– Чем?

– Это такая специальная краска. Она даже при стирке не смывается. Моя бабушка всегда перекрашивает разные старые вещи в какие-нибудь цвета. Вот и мы покрасим Маню в красный цвет, а сверху нарисуем черные пятна, и она сразу станет похожа на божью коровку.

– Это гениально! – закричал Гоша.

– Да-а... – только и смогла ответить Маня.

– Я сейчас сбегая и попрошу у бабушки краситель, а вы сидите

здесь и ждите, – приказала Леля и что есть духу побежала домой.

Дом был не так уж далеко и добежать до него можно было минут за пять, но друзьям, ожидавшим на лугу, показалось, что прошел целый час, когда, наконец, Леля вернулась с пачкой красителя.

– Вот, – сказала она, – эта краска! Сейчас мы прочитаем инструкцию... Та-ак... краситель для шерсти. Сначала нужно растворить порошок в воде... Потом надо положить в нее шерстяную вещь и красить ее один час при слабом кипении...

– Что вы собираетесь делать? – спросила Маня.

– Мы нальем в ванную воды, – начала объяснять Леля, – насыплем туда краски, и, когда вода закипит, ты сядешь в нее и посидишь там... немного.

– И что будет?

– Ты выкрасишься в красный цвет и станешь Божьей Коровкой.

– А по-моему, я стану холодцом! И вообще... я не разная старая вещь, а еще молодая корова. Не стану я садиться в ванну! Придумайте что-нибудь другое.

– Ну-у, на тебя не угодишь. Между прочим, красота требует жертв! – возмутилась Леля. Как автору такой великолепной идеи ей было жалко с ней расставаться.

– Друзья, давайте не будем ссориться, – сказал Гоша. – Может, попробуем другой метод окраски?

– Какой? – спросила Леня.

– Какой? – спросила Маня.

– Кистевой!

– ??

– Мы возьмем кисти и покрасим Маню обычными акварельными

красками. Тогда ей не надо будет садиться в ванную с горячей водой.

– Это мне нравится! – воскликнула Маня.

– Ну, что же, тогда за дело!

И работа закипела. Через несколько минут на лугу уже лежали кисти, краски и стояли баночки с чистой водой. Раз... два... раз... два... – мелькали в воздухе кисти. Раз... два... раз... два...

Часа через два работа была закончена. Жеребенок и кошечка присели на траву отдохнуть и полюбоваться своей работой.

Перед ними стояла корова необычно ярко-красной масти, блестя на солнце еще не высохшими боками. Леля и Гоша удивленно смотрели на нее.

– По-моему, – сказала Леля, – Маня скорее напоминает банку с томатным соком или пожарную машину, чем божью коровку.

– Это потому, – ответил Гоша, – что мы не нарисовали ей черные пятна на спине, да и голову ей надо покрасить в черный цвет.

Друзья снова схватили кисти, и через пятнадцать минут на лугу стояла новоиспеченная «божья коровка».

– Красота! – воскликнул Гоша.

– Красота! – воскликнула Леля.

– Вы так думаете? – застенчиво спросила Маня. Она была сейчас самой счастливой коровой на свете.

После того, как Маня стала внешне походить на идеал своей мечты, началась вторая, не менее ответственная часть работы: надо было научить ее летать, порхать с цветка на цветок и сидеть на листике дерева.

Была выбрана наиболее ровная площадка для взлета, и учения начались. Маня подпрыгивала на месте,

делала разбег, крутила хвостом вместо пропеллера, но, увы, ничего не получилось. Гоша и Леля изо всех сил старались помочь ей советами, они даже показывали, как надо правильно, по их мнению, делать разбег при взлете. Они призывали ее не падать духом и телом, но ничего не помогало. К вечеру все трое выбились из сил.

– Не тот масштаб, – сделала вывод Леля. – Чтобы порхать с цветка на цветок, ты слишком тяжела, а о листике и думать нечего.

– Почему-у? – наивно спросила Маня.

– Потому что он маленький, и ты на нем все равно не поместишься.

– Что же делать? – Маня посмотрела сначала на Лелю, потом на Гошу, и из ее глаз потекли крупные

коровьи слезы. Слезы смешались с краской, и скоро рядом с Маней на лугу образовалась небольшая черная лужа.

– Не надо плакать, Манечка, – утешал корову Гоша. – Ты и не должна летать, потому что ты у нас крупномасштабная божья коровка. Зато тебя будет хорошо видно с самолета.

– Ах, как здорово! – воскликнула Леля. – Представляете, летит самолет, и вдруг кто-то из пассажиров говорит: «Смотрите, какая красивая божья коровка гуляет вон там, на лугу. Неужели и божью коровку можно увидеть с такой высоты?»

И от этой мысли всем троем стало весело: Мане – потому, что сбылась ее мечта, а Леле с Гошей – потому, что они помогли своему другу.

НЬЮТОНОВЫ ЯЙЦА

Гоша сидел на крылечке своего дома и читал книгу об ученых и открытиях, которые они сделали. По книге выходило, что сделать открытие очень просто. Например, Архимед залез в ванну и сразу понял, что тело, пребывая в жидкости, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость, вытесненная телом. А Ньютон? И того проще: сел под дерево, упало на него яблоко, и вот, пожалуйста, – вывел закон всемирного тяготения.

И Гоше вдруг захотелось самому сделать какое-нибудь важное научное открытие. Он представил себе, как откроет что-нибудь удивитель-

ное, придет в Академию наук и расскажет бороатым профессорам о своем открытии, и как они ахнут, станут качать его на руках и кричать: «Ура!».

Гоша так замечтался, что не заметил, как к нему подошла Леля. Она шла из магазина и несла корзинку, наполненную продуктами.

– Доброе утро, Гоша, – сказала она, – чем это ты тут занимаешься?

– Здравствуй, Леля. Я сейчас прочитал такую интересную книгу об ученых, – и Гоша рассказал Леле содержание книги.

– Ух, ты, – сказала кошечка, – здорово это у них получается.

– Да, здорово! И я тоже хочу что-нибудь открыть. Ты мне в этом поможешь?

– Я? – удивилась Леля. – Как?

– Очень просто. Я сяду под дерево, – начал объяснять жеребенок, – ты залезешь на дерево и сбросишь оттуда яблоко. Яблоко ударит меня по голове, и я сразу придумаю что-нибудь. Видишь, как все просто.

– И вовсе не просто. Яблоки-то еще не выросли.

Гоша посмотрел на яблоню: яблочки на ней висели маленькие-маленькие, не больше пятикопеечной монетки.

– А если на тебя скинуть что-нибудь другое, ты сможешь что-нибудь придумать?

– Вообще-то, можно. А что у тебя есть?

– У меня в корзинке есть помидоры и яйца. Годятся?

– Ладно, – согласился Гоша, – помидоры сойдут, они на яблоки похожи.

Жеребенок помог кошечке взобраться на дерево, подал ей корзинку с продуктами, а сам сел под дерево.

– Ну, как, – крикнула сверху Леля, – ты готов?

– Да, кидай!

Леля прицелилась и бросила вниз помидор. Гоша зажмурился, но помидор просвистел рядом с ухом и шлепнулся на землю, обрызгав его сочной мякотью. Второй и третий последовали за первым, так и не задев жеребенка.

– Мазила! – крикнул Гоша. – Ты что, кидать не умеешь?

– Я не виновата, что у тебя голова такая маленькая, – стала оправдываться Леля.

– Это у меня-то маленькая? У меня? – обиделся Гоша. – Да если хочешь знать, мой дедушка был самой головастой лошастью в табуне...

Он хотел еще что-то рассказать о своем дедушке, но Леля перебила его:

– Гоша, а помидоры уже кончились.

– Как кончились? Что же ты так мало купила? А что еще у тебя есть?

– Есть яйца. Кидать?

– Кидай, – решительно ответил Гоша.

Леля поудобнее устроилась на ветке дерева, вынула из корзинки яйцо и бросила вниз. Яйцо точно попало в голову жеребенка, скорлупа лопнула, и желто-белая масса стала растекаться по Гошиной голове. Следующее яйцо попало на спину, расколосось и благополучно сползло по спине на хвост.

– Ну, как, что-нибудь пришло тебе в голову?

– Не-а, – сказал Гоша, слизнув висевшую на морде каплю белка. – Что-то в голову ничего не приходит. Кидай еще.

– А тебе не больно? – жалостливо спросила Леля.

– В науке нет легких путей. Кидай!

Леля скинула еще несколько яиц. Гоша стоял, с головы до ног вымазанный яичным белком. Постепенно белок начал подсыхать. Он сковал твердым панцирем все тело жеребенка, гриву, хвост, и даже один глаз был крепко-накрепко залеплен яйцом. Гоша хотел сказать Леле, чтобы она больше не кидала, но губы его были плотно склеены и не раскрывались. До Лели донеслось только:

– А-а-ы-ы...
– Что-что? – спросила сверху кошечка. – Ты что-то хотел сказать?

– Ы-ы-ы...

– Я тебя не поняла – кидать или не кидать?

– А-а-а... – донеслось до нее.

Леле показалось, что Гоша ответил «да», и скинула на него все оставшиеся яйца.

– А сейчас что-нибудь придумал?

Но что мог ответить Гоша, если губы его слиплись от белка? Он молчал.

– Может, он так глубоко задумался? – подумала Леля. – Сидит и не шевелится. Наверное, решает очень важную научную проблему.

И она стала потихоньку спускаться с дерева. В это время к забору сада подошла Маня.

– Привет! – крикнула она. – Что вы тут делаете?

– Т-с-с... Тихо, – шепотом произнесла Леля.

– Что случилось? – так же шепотом спросила корова.

– Гоша решает научные проблемы, а я ему помогаю, – сказала Леля и гордо села на траву.

– Ага, – сказала Маня и села рядом с Лелей. – А я хотела позвать вас на речку искупаться.

Леля строго посмотрела на Маню и ничего не ответила. Они помолчали.

– И давно он эти проблемы решает? – опять не выдержала Маня.

– Давно.

– А что это он такой блестящий?

– Это он в ньютоновых яйцах.

– Сорт, что ли, новый или импортные?

– Да нет, яйца обычные, а мысли от них появляются научные.

– Чудеса! А почему он не шевелится? Как памятник сидит.

– Не знаю, может, мысль боится упустить.

А солнце уже висело над самой головой и нещадно палило. Яичный белок окончательно высох и стянул всю кожу жеребенка. Он тоскливо смотрел одним глазом на своих друзей и не знал, как подать им знак о своей беде. Он хотел упасть на бок, но оказалось, что белок крепко приклеил его к траве. Тогда Гоша не выдержал и заплакал. Слезинки полились из его глаз одна за другой.

– Леля, смотри, он плачет! – воскликнула Маня. – По-моему, пора кончать этот научный эксперимент. Давай отнесем его на речку и смоем с него эти ньютоновы яйца. Помоги мне.

Вдвоем они оторвали Гошу от травы и отнесли на речку. Вода размывала белок, и через некоторое время Гоша вышел на берег.

– Ну, как, открыл что-нибудь? – спросила Леля.

– Открыл... что сколько бы ни били по глупой голове, умнее от этого она не станет, – ответил Гоша.

ГОШИНО ИЗОБРЕТЕНИЕ

После завтрака друзья побежали купаться на речку. Солнышко ласково грело, по небу лениво ползли белые облака, и вода в реке была теплая-теплая. Вдоволь накупавшись, Гоша, Леля и Маня лежали на песчаном берегу и грелись под лучами солнца. И все в этом мире казалось таким прекрасным, все, кроме мух, которые не давали никакого покоя.

— 3-з-з-ж-ж-ж, — проносились они над ухом и садились то на бок, то на спинку, а то еще хуже — на нос.

Друзьям то и дело приходилось шлепать себя по спине хвостами.

— Придумал! Я придумал! — кричал Гоша.

— Что? — спросили Маня и Леля.

— Я придумал, как бороться с мухами! Это будет изобретение века, оно потрясет мир!

Ничего больше не объясняя, Гоша побежал домой и заперся в своей комнате. Целый день оттуда доносились странные звуки, что-то непонятное скрежетало и шлепало. Маня и Леля с нетерпением ждали, когда Гоша покажет им свое изобретение. Наконец, на следующее утро он с серьезным видом вышел из домика и сказал:

— Готово! Теперь надо аппарат испытать. Кто хочет прославить свое имя в веках? Нужен доброволец.

— Я!! — крикнули одновременно Маня и Леля.

Гоша обошел вокруг каждого претендента на мировую славу и установил свой выбор на Мане.

— А почему не я? — обиделась Леля.

— У Мани поверхность тела больше, а значит, и мух на нее может

сесть больше, — научно обосновал свой выбор Гоша.

Жеребенок повел Маню в дом готовиться к испытаниям, а Леля осталась ждать на берегу реки. И вот они появились. Леля замерла от неожиданности. Гоша шел впереди, а за ним двигался какой-то странный аппарат. Когда аппарат подошел ближе, Леля поняла, что это Маня. К корове ремнями были привязаны две коробки, одна на спине, а другая на голове. Из коробок торчали во все стороны палки разной длины с резиновыми кружками на концах. Из-под палок и резиновых кружков блестели счастливые коровьи глаза.

— Ну, как? — спросила Маня.

— Неземная красота! — только и могла вымолвить Леля.

— Внимание! — сказал Гоша. — Сейчас мы проведем испытание. Запомните эту торжественную минуту.

Гоша повернул на ящиках какие-то ручки. Палки пришли в движение. Сначала медленно, потом все быстрее они шлепали Маню по бокам, ногам, голове. Хлоп-шлеп-хлоп-шлеп.

— Я назову его «Мухохлоп-1», — гордо сказал Гоша, и друзья стали весело прыгать вокруг Мани. Прошло около часа, а «Мухохлоп-1» все шлепал и шлепал Маню по бокам.

— По-моему, — сказала Леля, — испытания прошли на отлично — на берегу не осталось ни одной мухи, пора выключать.

Она посмотрела на Гошу, но он не двигался с места и молчал.

— Ну что же ты? — обратилась к нему Маня. — Я уже устала стоять, выключай аппарат.

Гоша опустил голову и прошептал:

– Я не знаю, как его выключить. Я об этом как-то не подумал.

– Как же ты его сделал без выключателя?

– Дело в том, что двигатель к «Мухохлопу-1» я нашел в сарае. Его еще мой дедушка сделал. Он говорил, что это вечный двигатель, поэтому, наверное, у него и нет выключателя.

– Та-ак, – зловеще прошептала Маня, – он меня что же, всю жизнь будет шлепать... то есть, мух от меня отгонять?

– Не знаю, – ответил Гоша. – Может, он когда-нибудь сам остановится?

– А если не остановится? Что я буду делать?

– Мы тебя тогда на ВДНХ пошлем, – робко предложила Леля, – как мухохлопную корову. Может, тебе еще и медаль дадут.

– Медалью сыт не будешь, а я уже есть хочу, – сказала Маня.

Гоша сбегал домой и принес охапку свежего сена. Подойти к Мане близко мешали палки, поэтому

друзья стали бросать сено, стараясь попасть корове в рот. Но палки с резиновыми кружками, как теннисные ракетки, отбивали его обратно.

Раз – сено летело к Мане.

Два – одна ракетка отбивала его обратно к Леле.

Раз – летел еще один клок сена.

Два – он возвращался к Гоше.

Уже наступил вечер, но накормить Маню так и не удалось.

– Ладно, – грустно сказала она, – пойду попью. – И побрела к реке.

Но попить ей тоже не пришлось. Палки зашлепали по воде и подняли так много брызг, что Маня стала походить на большой фонтан.

Наступила ночь. Потом утро. За утром пришел день. Корова плакала и худела прямо на глазах. Ремни, которыми был привязан аппарат к корове, ослабли, и он сам собой упал на землю.

– Ура! – закричала Леля. – Маня спасена!

Друзья решили поставить «Мухохлоп-1» на берегу реки, чтобы он отгонял мух и навевал прохладу, когда они будут нежиться на пляже под жарким солнцем.

*

*

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР ПЕРВОЦВЕТА

Александр Чучнев,
г. Пушкин

ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Сверхсокращенный вариант одноименной повести

START.EXE

У человека, подверженного пятой стадии компьютеромании, почти полностью отсутствует аппетит, сон и сексуальное влечение. Примерно что-то в этом роде написано в любом медицинском справочнике о компьютеромании в разделе «Симптомы». Впервые этот вид мании занял свое почетное место среди прочих официально признанных маний в 2002 году. С тех пор на эту тему было написано неисчислимое количество диссертаций, а также создано множество клиник, занимающихся излечением пациентов, подверженных этой болезни. Как правило, лечение спасало лишь на какое-то время, а потом больной вновь возвращался к старому так же, как и обычные наркоманы, которых, кстати, с каждым годом становилось все меньше и меньше. И вскоре вы поймете, почему.

LEVEL 1

Макс находился на пятой стадии уже несколько лет. Он никогда не лечился, и, если бы ему заявили, что он болен, он только посмеялся бы над этим и с безумным видом ушел бы к предмету своей мании.

Все же он был человеком, а не роботом, поэтому даже ему иногда приходилось покупать себе продукты. Тогда он с трудом отрывался от компьютера и ходил в соседний магазин, где закупал продукты на целую неделю. А еще он изредка спал, а также общался со своей подружкой Таней, которая осталась у него еще с тех времен, когда он болел только первой стадией. Но все перечисленные моменты он считал недосу-

ществованием, своего рода вынужденными паузами между настоящей жизнью, то есть временем, проведенным за компьютером.

Внешне Макс выглядел худощавым парнем лет тридцати с копной рыжих, беспорядочно болтающихся волос. Одет он был в джинсы и мутно-серый свитер, бывший еще пару лет назад ярко-белым. В общем, выглядел он непрезентабельно, словно мятая и испачканная упаковка из-под сока или молока. Но это только снаружи. Внутри он был гигантом мысли и отцом русской виртуальности.

Макс набросал продуктов в сумку и вышел на улицу. До дома было меньше двухсот метров, но он шел настроенно, оглядываясь по сторонам. Он даже не думал о своем очередном программном детище.

В последние пять недель он занимался программированием новейшей виртуальной имитации. Он создавал нечто такое, что должно было потрясти весь компьютерный мир. Но пока трясло только его и, в основном, от страха. Дело в том, что после первой недели работы над новой виртуальной Вселенной к нему стали приходить письма с угрозами, после второй недели – телеграммы, а после третьей за ним стал следить какой-то подозрительный тип. Последние несколько дней он стал находить странные бумажки с надписями: «Первое предупреждение», потом – «Второе предупреждение» и так далее, сегодня утром он нашел у себя под дверью бумажку, где было написано: «Шестое предупреждение».

Отойдя десять метров от магазина, Макс вновь заметил того подозритель-

Отойдя десять метров от магазина, Макс вновь заметил того подозрительного типа. Он был высоченным, как башня, худым, как дистрофик, и лысым, как бильярдный шар, а лицом походил на дохлую рыбу, одет во все пестрое, словно петух. Тип навязчиво поглядывал на Макса и плелся за ним, как привязанный. Макс ускорил шаг, тип тоже. Макс перебежал на ту сторону дороги и резко обернулся. Тип исчез. Оглядевшись вокруг и облегченно вздохнув, Макс направился к своему дому. Он зашел в арку и вдруг застыл от удивления. В арке стоял все тот же тип. Только на сей раз он был одет в модный синий костюм. Когда он только успел переодеться?

Тип уверенным шагом приблизился к ошарашенному Максиму. Он становился в двух шагах от отца русской виртуальности и укоризненно булькающим голосом сказал:

— Я предупреждаю вас в последний раз. Если вы не прекратите свою работу, то выйдете из игры.

Макс лихорадочно нащупал в кармане джинсов газовый пистолет и посмотрел на улицу, выискивая пути для отступления. Когда он повернул голову, загадочного типа уже не было, он растворился, словно привидение. Макс быстро вбежал во двор, но его уже и след простыл.

— Вот, черт, как же он так быстро скрывается? Ниндзя он, что ли?

LEVEL 2

Дрожа от возбуждения и страха, Макс поднялся к себе в квартиру. Когда он открыл дверь, то сразу же понял, что за время его отсутствия пришла Таня. Ее лиловый плащ висел на вешалке, а туфли валялись прямо у двери.

Макс обнаружил Таню в кухне, где она жадно копалась в холодильнике.

— Я пришла с работы, а у тебя похрустеть нечего! — возмутилась Таня.

— Вот, возьми, — Макс отдал ей сумку с продуктами, практически не обратив внимания на ее внешний вид, а ведь она купила новое платье и сменила цвет волос. Впрочем, Таня и не ожидала от него ничего другого. Парень

ведь совсем свихнулся от своих компьютеров.

— Ты приготовь чего-нибудь, я пойду... Мне нужно срочно закончить работу, — нервно буркнул Макс и ушел в комнату.

Когда он уселся за компьютер, страх сразу же покинул его. Вернулась былая уверенность, он еще больше хотел закончить свою эпохальную работу.

— К черту угрозы! Мне никто не мешает! — с этими словами он включил компьютер.

— Зачем ты купил детский шампунь? — раздался голос с кухни.

— Шампунь? Разве я покупал шампунь? — удивился Макс, наблюдая, как запускается операционная система «Приказчик-08».

Таня прибежала в комнату с бутылкой детского шампуня в руке.

— А это что, по-твоему?

Макс мельком взглянул на бутылку.

— Я думал, это кетчуп...

Таня со злости бросила бутылку на пол.

— Эта твоя растерянность, это что-то!

— Ну, извини, я думал о другом.

— О чем, интересно, ты думал, что накупил всякой дряни?

— Так, о программе и о...

— Что, опять?! Эти угрозы? За тобой снова следил этот тип?

— Ну, да... В общем, да. — Макс нажал на «ENTER».

— Я давно говорила тебе — сходи в милицию. Но ты всегда все забываешь, когда садишься к своей чертовой железке!

— Пожалуй, ты права. — Макс посмотрел на экран и ужаснулся. На экране появилось лицо того лысого типа, что за ним следил. Он злобно засмеялся и искаженным машинным голосом сказал:

— Твоя система уничтожена! Ха-ха!

Экран потух, а через секунду из системного блока компьютера повалил дым.

— Вот, гад! — испугавшись, Макс отпрыгнул прочь от стола.

Таня заворуженно уставилась на горящий компьютер.

Макс быстро пришел в себя и, не теряя времени даром, быстро отключил компьютер от сети, а потом накрыл его одеялом.

– Этот козел уничтожил твою программу?!

– Уничтожил, как же! Держи карман шире. – Макс достал из кармана джинсов маленький блестящий диск и поцеловал его. – Вот она, родимая!

– Но как он сюда пробрался? – не унималась Таня, все еще не очухавшись от шока.

– Не знаю, но похоже, пока меня не было дома.

Макс схватил телефон и набрал номер ближайшего компьютерного магазина. Он заказал новый компьютер и тут же помчался его забирать.

– Я же говорила – надо обратиться в милицию. – Таня побежала вслед за ним. – Где тот газовый пистолет, который ты купил на прошлой неделе? – спросила она, надевая плащ.

– Когда я пришел, то, кажется, положил его в прихожей, – рассеянно ответил Макс, думая уже о новом компьютере.

Таня схватила пистолет и с ужасом обнаружила, что он без обоймы.

– А где патроны? – крикнула она.

– Патроны? А разве я не купил патроны?

– Ну, ты даешь! А ты голову еще нигде не забывал?!... Ладно, у меня есть газовый балончик.

LEVEL 3

Подозрительный тип больше не появлялся, поэтому все обошлось без инцидентов. Примерно через час Макс с Таней притащили домой новый компьютер. Макс быстро подключил его и вновь уселся за работу, забыв про все на свете. Теперь он еще больше хотел поскорее закончить программу. Противодействие только подзадорило его. Тем более, оставалось каких-нибудь пару часов до полного завершения программирования. И тогда...

Макс в предвкушении удачи поглядел на апрельский номер «ИНДИВИДА», который валялся на другом краю большого полированного стола. Вполне воз-

можно, его физиономия скоро будет красоваться на обложке. И это будет триумфом!

«ИНДИВИД» издавался с 2002 года и за эти годы стал путеводной звездой всех индивидуалистов – одного из двух основных духовных и политических течений двадцать первого века. Демократы, коммунисты, фашисты, левые, правые, зеленые и прочие оказались на свалке истории, остались только индивидуалисты и коллективисты. Только они выигрывали выборы, только они владели умами миллионов. Коллективисты говорили: «Найди общий язык с ближним своим!», индивидуалисты смеялись над ними и утверждали: «Уйди в свой мир – найти общий язык невозможно!». Самый популярный способ ухода в личный мир – виртуальная реальность. Тем более, что с изобретением аналоговых процессоров седьмой серии виртуальность стала неотличимой от обычной реальности, а во многих случаях даже лучше ее. Поэтому наркоманы были теперь не в моде. Никакие наркотические галлюцинации не могли дать того, что давала виртуальность, из-за чего рынок наркотиков рухнул, а мафия начала торговать ворованными программами и специальными виртуальными компьютерами (на жаргоне их называли «виртиками»), ставшими дешевле пары самых дрянных ботинок на рождественской распродаже. Зачем каждый раз тратить на очередную дозу, если можно один раз купить устройство размером с мыльницу и загрузить «уже конкретно – на всю жизнь».

Макс работал самозабвенно около двух часов. Программа была близка к завершению, когда в комнату вошла Таня.

– Я позвонила своему бывшему однокласснику, Сане, ты его не знаешь. Ну, так вот, он работает в угрозыске. Он обещал подъехать со следователем через час.

– Отчего такая спешка? – не отрываясь от компьютера, спросил Макс.

– Дело в том, что... у них уже ведется следствие... только в Москве... Они хотят задать тебе некоторые вопросы.

– И?

– В общем, ты тут сидишь, пишешь свою чертову имитацию и ничего не знаешь, а там Димка пропал.

– Что?! – Макс оторвался от клавиатуры и пораженно посмотрел на Тяню.

Эта новость шокировала его. Димка был его старинным другом. В прошлом году они вместе написали «Цивилизацию-46». Но в январе Димка переехал в Первопрестольную, и их пути разошлись. Говорят, в последнее время он занимался чем-то похожим, впрочем, виртуальными имитациями такого класса занимались сейчас многие, например, Джинжер из Лос-Анжелеса.

Словно угадав мысли Макса, Тяня сказала:

– Джинжер тоже пропала. Сообщили через Интернет.

– А это тебе кто сказал?

– Саня и сказал. Он ведь не все время в уголке торчит.

Ну, это уже переходило все границы! Это был просто какой-то заговор коллективистов. И не мудрено, ведь на последних выборах в Думу победили именно они, в то время как в Америке и Европе властвуют индивидуалисты. Макс заметил, что Тяня держала в правой руке большой кухонный нож, а в левой газовый балончик.

– А это еще зачем? – спросил он, поглядывая на громадный нож для разделки мяса.

– А вдруг он, этот тип, проникнет сюда, – возбужденно ответила Тяня.

– Ну, ты, блин, даешь! – Макс повернулся к предмету своей мании и продолжил самозабвенно работать.

LEVEL 4

Наверное, вам очень интересно узнать, чем же таким занимался Макс? В общем-то, ничем примечательным с точки зрения двадцать первого века. Он всего лишь создавал очередную виртуальную игру. Но это не то, что вы подумали. Для того чтобы понять, что представляет из себя виртуальная игра двадцать первого века, надо знать всю кухню виртуальности начала третьего тысячелетия. А она, надо заметить, рази-

тельно отличается от той, что была в конце старого, доброго двадцатого века.

Виртуальность двадцать первого века зиждется на четырех основах. Две из них появились еще в конце двадцатого века, другие – только в начале следующего. Основа первая – это программно-графическое обеспечение, позволяющее сделать искусственную реальность рассчитанной до мельчайших подробностей и ничем не отличимой от настоящей. Основа вторая – имитатор чувств, устройство, которое воздействует на кору головного мозга электромагнитным излучением и вызывает в нем все нужные ощущения: боли, удовольствия и тому подобное. Причем, ощущения ничем не отличаются от настоящих. То есть, если порезать палец в виртуальности, боль будет такая же, как и в действительности.

Но даже самая суперграфика и самый суперимитатор не делали виртуальность ничем, кроме красивой и увлекательной игрушки. ПЛП и ПСВ сделали из нее религию и панацею. Обе эти штуки были основаны на психотропном генераторе – маленьком электронном блоке, который присоединялся к компьютерной системе.

ПЛП – это Программа Ложной Памяти, ПСВ – это Программа Сужения Времени. Оба чуда психотропной техники были созданы благодаря изучению «пограничных состояний мозга». Самым простым ключом к пониманию их действия является обычный сон. Точнее, сновидения. В них человек может представлять себя совсем другой личностью и не помнить все, что было с ним в реальности. Внутри сновидения время течет совсем по-иному, во сне может пройти целый день, а в действительности пройдет всего несколько секунд.

ПЛП и ПСВ, в отличие от естественного сна, жестко контролировали эти два процесса. То есть, если пользователь хотел быть Аттилой Гунном, он был им, а его настоящая личность отходила на второй план. Если в реальности проходила одна секунда, то в виртуальности мог пройти год.

Так вот, Макс создавал очередную версию «Цивилизации». Эта игра во

всех подробностях имитировала Землю, начиная от доисторического периода до наших дней. Она позволяла быть любой исторической и неисторической личностью, королем или нищим, в любые времена. Можно было изменять историю по своему усмотрению и вообще делать все, что заблагорассудится. Версия Макса отличалась от предыдущих большей продуманностью и главным: самым большим в мире масштабом сокращения времени – один к десяти миллиардам. Практически, он создавал вечность. Можно было невероятно долго оставаться в ненастоящей реальности, до бесконечности оттягивая момент собственной смерти. Ведь в виртуальности можно было прожить миллионы и миллионы лет.

– Ну, все. Закончил, – выдохнул Макс.

Он подключил видеофон к компьютеру и улыбнулся Тане.

Их лица сблизились, все вело к поцелую, но вдруг что-то белое и легкое свалилось между ними, до смерти испугав обоих. Макс и Таня в страхе шархнулись по сторонам. Таня зачем-то выхватила нож и направила его... как оказалось, на листок белого картона.

– Не может быть! – вырвалось у Макса.

– Что... это? – дрожащим голосом спросила Таня, показывая ножом на листок. Макс наклонился и поднял его. – Так и есть! – воскликнул он. – Снова предупреждение!

На листке было написано: «ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОДИН К ДЕСЯТИ МИЛЛИАРДАМ – ЭТО ПРЕДЕЛ!»

– Какого черта?! Как оно сюда попало? – изумилась девушка, поглядев на открытую форточку. – Не ветром же?

– Может, он – телепат, переместил эту бумажку? – предположил Макс.

Таня покачала головой.

– Тем хуже для нас.

– Да ну его к чертям собачьим! – с этими словами Макс сел в кресло перед компьютером и схватился за видеофон.

Видеофон представлял из себя обрuch, который надевался на голову. На этом обрuche имелись видеоочки, науш-

ники и куча излучателей, которые воздействовали на мозг. Эта чудная штука обеспечивала прямой контакт мозга с компьютерной системой, исключая всякие манипуляторы типа киберперчаток и прочей допотопной чепухи. Поэтому, даже когда в виртуальности человек бежал, плавал или занимался любовью, в реальности его тело оставалось недвижимым.

Макс уже занес видеофон над головой, но внезапно Танина рука остановила его.

– Подожди. Я должна тебе сказать кое-что. ...Ты знаешь, я тут в последнее время думала. ...А что, если уже?!

Макс отстранил руку Тани.

– погоди, скажешь через секунду. Даже меньше.

– Как – через секунду?!

– Ну, ты что, с луны свалилась!? Ведь я сделал сокращение времени один к десяти миллиардам. Ты хоть понимаешь, что это такое?! Это значит, что если я надену этот шлем всего на секунду, в виртуальности пройдет триста семнадцать лет! Соображаешь?! А если я не сниму его в течение минуты, там пройдет почти двадцать тысяч лет! – глаза Макса засветились ненормальным, фанатичным блеском. – Я создал вечность!

– погоди, ты не понял, о чем я... – договорить она не успела, потому что Макс уже натянул обруч на свою безумную черепушку.

А через секунду он исчез, просто-напросто растворился, как приведение. А видеофон упал на опустевшее кресло.

LEVEL 5

Виртуальность предстала перед Максом во всей своей красе. Он быстро вошел в программу и приобрел новую личность. Макс всегда испытывал большую любовь к доисторическим временам, поэтому для начала он решил побыть очень сильным и злобным неолитическим человеком. Естественно, он уже не помнил, что на самом деле был Максом. Его, так сказать, первоначальная личность ушла в глубины подсознания. И так...

Быстрый Тигр тихо крался между деревьями, выслеживая добычу – большого оленя. За ним по пятам шел его младший брат, Тупой Хряк. Он хрустел ветками, словно мамонт. Олень насторожился и боязливо оглянулся на то место, откуда исходил хруст.

– Тсс! Тупой Хряк, ты спугнешь добычу! – шепнул Быстрый Тигр.

– А, что?! – громко спросил Тупой Хряк.

Олень услышал человеческий голос и испугался. Мгновение спустя он дал деру.

– Ах, ты, неразумный идиот! Ты превзошел самого себя в тупости! – разозлился Быстрый Тигр и вплепил Тупому Хряку хорошую оплеуху. Брат упал на землю и захныкал...

А в это время программа набирала обороты и выходила в номинальный режим. Где-то там, в недрах железки, отсчитывались цифры: 1 к 1000, 1 к 10000 и так далее. Наконец, программа заработала на полную мощность. Сокращение времени достигло один к десяти миллиардам.

Быстрый Тигр шагнул прочь от хныкающего брата, вдруг лес вокруг него стал мутнеть, таять и вскоре исчез вовсе. Потом стали таять земля и небо.

– О боги, за что вы прогневались на меня! – воскликнул Быстрый Тигр и упал на колени. – Я же отдал вам жертвы... Даже больше, чем обычно!

Но боги были глухи к его молитвам, может, потому что их не было...

GAME OVER

Мутно-серое стекло статиссаркофага отодвинулось в сторону и прохладный воздух ударил ему прямо в лицо. Он нехотя вдохнул и открыл глаза. Над ним нависал низкий белый потолок. Затем он с трудом привстал, и тут же его взгляд наткнулся на вышеченного, тощего, лысого техника в черной спецовке с надписью на правом кармане «Фантазия, инк.».

Тот, кто был Максом, встал из статиссаркофага.

Техник виртуозно развел руками.

– Ну, я же предупреждал вас, мистер. Вы знаете наши правила. Мы не могли напрямую вмешиваться в игру. Надеюсь, вы понимаете, что вы были и теперь должны вставать в очередь по-новому?

– Да-да. Можете не повторять.

Немного поташнивало, и слегка кружилась голова. Тот, кто был Максом, испытывал легкую горечь от потери места в такой увлекательной игре. Чувство было сродни обиде за то, что его разбудили на самом интересном месте сна. Что ж, такова «се-ля-ви» или как там ее правильно произносили в этой игре?

– Вы же понимаете – технология не всесильна. Мы обеспечиваем сокращение времени один к миллиону плюс запас. Но если вы там, у себя, создаете еще дополнительное сокращение и превышаете предельный масштаб – все летит к черту. Мозг не может выдержать слишком большого сокращения, и – бац! – все сворачивается к чертям, и вы возвращаетесь в исходную реальность.

– И сколько уже вернулось таким образом? – спросил он.

Немного подумав, техник ответил.

– Больше десяти.

«Значит Димка, Джинжер и другие обогнали меня. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения».

Техник закрыл саркофаг и поплелся к посту управления, ворча себе под нос.

– Вот ведь, придумали! Это ж надо додуматься, чтобы существовали какие-то планеты, да к тому же круглые! Круг – это самая неестественная форма! И название у нее какое-то странное – «Земля»?!

Тот, кто был Максом, последовал за ним. Он шел по узкому проходу, между двумя рядами саркофагов, где лежали игроки. Ряды статиссаркофагов уходили на сотни метров вперед и на столько же назад. С низкого потолка лился слабый голубоватый свет, слышалось тихое гудение больших вентиляторов, висящих через каждые десять метров. Тот, кто был Максом, рассеянно разглядывал мутно-серые стекла саркофагов, словно пытаясь найти среди спящих лица знакомых ему игроков, хотя и

знал, что это практически невозможно. Например, его девушка могла быть во все не девушкой и находиться черт знает где, в другом бункере или вообще на другом конце света. Компьютерная сеть обеспечивала связь с любым игроком, даже если он находился за тысячи миль от тебя.

Тот, кто был Максом, посмотрел на большой экран перед пультом техника. Там, среди звезд, кружилась Земля, которой на самом деле не было, она была всего лишь виртуальной имитацией.

Он вышел из бункера и встал на самодвижущуюся дорожку. Спустя несколько минут он преодолел последний подъем и вышел наружу. На поверхности громадный комплекс бункеров «Фантазии, инк.» был всего лишь небольшим, неприметным одноэтажным зданием, около которого вечно толпился народ в ожидании своей очереди. «Что же делать теперь? Снова вступить в очередь на участие в «Земле»? Ждать придется долго. Ведь это самая популярная игра. Участников уже более пяти миллиардов. Или вступить в какую-нибудь другую игру, чтобы не проводить время зря? Боже, каким же я был идиотом! Из-за таких, как я, разрушается любимая игра! Уйди в свой мир – как же! Ведь игра и создана, чтобы играть! Играть совместно с другими! А Земля была какой-то особенной в этом отношении».

С такими мыслями тот, кто был Максом, незаметно для себя зашел в парк. Квадратные деревья шелестели прямоугольными черными листьями,

черная стреловидная травка равномерно прогибалась под ветром, усиливающимся и ослабевающим в строгой квадратичной зависимости. На розовом небе плыли прямоугольные зеленые тучи. Светило голубое квадратное солнце. На горизонте виднелось спокойное серое море, свидетельствующее о том, что черепахи, на которых держался мир, спали.

Тот, кто был Максом, оглядел всю эту красоту и задумчиво опустил голову. Ему вспомнились слова Тани (точнее, той или того, кто был Таней). Она ведь предупреждала его. Теперь он по-новому интерпретировал ее фразу: «А что, если уже?». Таня хотела сказать, что их мир уже мог быть создан таким же, как он, программистом. Она оказалась права.

А кто создал этот мир? Бог? Природа? Или... От ужасной догадки по коже пошли мурашки.

– А что, если и этот мир создан искусственно? – закричал тот, кто был Максом. – Кто докажет обратное? Какой заумный программист придумал эти квадратные деревья?

Он вознес руки к небу и заорал пуще прежнего:

– Эй, вы там! Где же настоящая реальность?

Внезапно перед его ногами упал глянцево-белый листок. Тот, кто был Максом, со страхом поднял его. Его страх оправдался. На листке красивым, готическим шрифтом было напечатано: «ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

*

*

*

УЛЫБКИ ПЕРВОЦВЕТА

Любовь Штефюк,
учащаяся школы № 22 г.Иркутск

ТАРАКАНЬЯ НАПАСТЬ

Загадочно и обыкновенно светит на кухне лампа; тишина, режущая уши; вода: кап-кап-кап из кухонного крана. Нагло восседающий на печке таракан, и я – рядом на стуле. Я бы могла его прихлопнуть, но у меня опустились руки, а он, дипломатично шевеля усиками, поправляя лапкой несуществующий галстук и поблескивая черными и пронизывающими глазками, вдруг сказал с легким сожалением:

– Да, беспомощны вы, люди, против нас, тараканов... – и замолчал на минуту.

– Да-а, – снова протянул он то же слово с тем же оттенком печали. – А мне вас, людей, даже жалко чуть-чуть.

До этого, смотря куда-то в неопределенную точку, таракан повернул ко мне голову и посмотрел усталым взглядом мне в глаза. Его маленькие бусинки-глазки выражали нахальное самодовольство, задумчивость, но казались грустными. Увидев, что меня ничуть не интересует то, что он говорит, таракан, казалось, обиделся и еще больше погрузился; мне стало даже жаль его. Он посидел еще с минуту, перекинул лапу на лапу и продолжал:

– Вот вы, люди, нас и тем, и этим пытались травить, сколько лет!! А нас, э-э... никакая отравка не берет. Мы, тараканы, народ выносливый. А вы здоровьем, надо сказать, не выжили. Чуть что – в больницу, доктора уже надобно стало. А мы живем себе и живем; у вас – кризис, а мы – на склады. А вы не получите, потому что денег нет. И пошли

митинги, забастовки, потасовки... А мы, тараканы, спорить-кричать не будем, а тихо-тихо шурсть – в теплое хорошее местечко. И живем себе, поживаем.

Ночь спускалась на город, небо было темным, хотя по телевизору обещали, что сегодня можно будет попасть под звездный дождь и набрать полный карман звезд. Лампочка все так же светила и молча соглашалась со всем. Для таракана-то она – настоящая звезда. А сколько их в домах, звезд-то! И без всяких усилий можно взобраться на звезду, пока она спит, и сидеть на самом краешке, а потом хвастаться, что побывал на всех звездах.

Голос таракана вывел меня из задумчивости.

– ...Вот вы воюете, потрясая кулаками на весь мир, а мы, тараканы, мирные животные, потому все целы. Если бы мы воевали, нас бы давно не осталось, и вы бы от нас избавились. Но этому не бывать! Мы, тараканы, э-э... не доставим вам такого... как его... счастья. Да, не доставим!

Долго разглагольствовал таракан, а я, сидя у печки на стуле, ничего не возражала ему. Думаю: «Пускай треплется, а я со всем соглашусь, устанет когда-нибудь».

Я взяла тряпку, хотела опустить ее на таракана, но посмотрев на его умиротворенную мордочку, подумала: «Пускай живет. Одним меньше, одним больше – какая разница?! Безобидные все-таки твари, не то, что некоторые...»

И пошла спать с чистой совестью.

Первоцвет № 2 (6)
Литературно-художественный альманах для юношества

Учредитель:

Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина

И.о. главного редактора С.В.Зубакова

Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина и редакционная коллегия альманаха

***«Первоцвет» сердечно благодарят
оперативную мини-типографию «На Чехова» за спонсорскую помощь в издании альманаха,
понимание и поддержку.***

Альманах зарегистрирован в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати.

Рукописи НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ И НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ.

Адрес редакции: Иркутск, ул. Чехова, 10, тел.: 27-07-93

E-mail: oylbeis@mail.ru

Электронную копию альманаха «Первоцвет» вы можете найти в Интернете по адресу <http://almanah.irk.ru/>

Тираж 250 экз.

Заказ № 105

Цена свободная

Отпечатано в мини-типографии «На Чехова»

г.Иркутск, ул. Чехова, 10 тел. (3952) 27-33-56

Лицензия ПЛД №40-37